

ВАЛЕРИЙ ТАРСИС

❁
Валерий Тарсис

Сказание
о синей
мухе

Красное
и черное

Ⓜ

Валерий Тарсис

Собрание сочинений

в двенадцати томах

11

ПОСЕВ 1966

Обложка работы

А. В. Русака

© 1966 by Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt/Main
Gesamtherstellung: Possev-Verlag
Printed in Germany

Сказание о синей мухе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Господа, земля — круглый вал, люди — отдельные шпильки на нем, разбросанные, по-видимому, в беспорядке, но всё вертится, шпильки цепляются, то здесь, то там, издают звуки — одни часто, другие редко, получается чудесная, сложная музыка, называемая всемирной историей. Итак, мы начинаем с музыки, переходим к миру и заканчиваем историей; последняя делится на положительную часть и на шанских мух.

ГЕЙНЕ

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ

Спору нет, — синяя муха обладала резко выраженной индивидуальностью.

Наконец ей надоело пренебрежительное отношение окружающих, и особенно философа, мнящего себя, по-видимому, хозяином вселенной. Он в одиночестве трудился на своем поприще. Он писал:

«Глупость всеильна, разум беспомощен. Что может сделать двуглавый орел против миллионноголовой гидры?

Глупость одержала решительную победу над миром еще в тот гибельный день, когда первый дурак покорился первому злодею. И власти своей над миром не уступит до скончания века...»

Как видите, философ тоже был ярким индивидуумом в своем роде, поэтому скажу несколько слов о его поприще.

Разумеется, муха об этом представления не имела и даже не представляла себе ясно, что это за пища — фило-

софия. Из этого иной сделает вывод, что вряд ли может получиться занимательный сюжет из столкновения философа с мухой, поскольку других персонажей пока в кабинете не заметно. Да и философ любил убивать мух, уничтожал их великое множество, так что герой мой рискует остаться наедине с самим собой.

Но, может быть, дело в других или в другом?

Известно, что философия — если буквально перевести это слово на русский язык — означает любомудрие.

Так считают все люди.

Но муха думала иначе.

Что именно думала она, станет очевидным из ее дальнейших трагических переживаний, борьбы не на жизнь, а на смерть, описанных добросовестно и тщательно, а также из мыслей и чувств самого философа.

Чтобы окончательно не сбиться с пути и цели нашего рассказа, — что весьма свойственно автору, спотыкающемуся на каждом шагу, — целые груды фактов, мыслей, соображений загромаждают его путь к цели и порой даже его заставляют забыть о ней, — я перейду к позиции философа на избранном им поприще, а также постараюсь выяснить его собственное неотъемлемое отношение к этому поприщу.

Наш философ, — кстати, назовем его, хотя многие справедливо считают, что назвать человека — это еще ничего не значит, но мне думается, что все же лучше назвать; по крайней мере, если он окажется темной личностью, то уж не меня будут громить, тащить и не пущать критики и участковые надзиратели, а его самого, его сожителей, соседей, родственников до пятого колена, парторганизацию, в которой он состоял, — итак, его звали Иоанн Синемухов.

Ну, теперь, когда вы обо всем предупреждены, можно решительно перейти к раскрытию тайн и животрепещущих переживаний моих героев или, выражаясь научно, к раскрытию темы...

Но если бы автору известно было, какая у него тема... Если бы он это знал, он бы ее точно сформулировал, запланировал, подобрал бы материал...

Но в том-то и беда, что темы у него решительно никакой не было, а только одно-единственное событие, которое скорее может показаться смехотворным, чем типичным, как это положено в добропорядочной литературе, — ха-ха! — Человек и муха, — но погодите смеяться, ибо известно, что кто смеется над собой, потом непременно плачет.

Быть может, вы уже злорадно утешаетесь, что речь идет не о вас — ведь фигурирует только философ и муха. А поскольку вы не философ, значит...

Но извольте еще доказать, что вы не муха. А мне думается, что это доказать не легче, чем то, что вы не верблюд. Все философы почему-то это усердно доказывают. И я никак не пойму, зачем и кому это понадобилось, не говоря уже о том, что верблюд — одно из самых благороднейших созданий, — терпелив, вынослив, может обойтись без всего, не только без хлеба, но даже без воды. А сколько героизма проявляют они во время труднейших экспедиций!

Но я слишком много отвлекаюсь во все стороны. Попытаюсь на время отвлечься к главному, — если не к теме, то хотя бы к тому, о чем я хотел рассказать. Ведь я несомненно о чем-то хотел рассказать. Замечу только, что по тому, как рассказешь, будет оцениваться и то, что рассказешь.

Удивительное дело, — это звучит почти парадоксально, однако верно, как то, что день это не ночь, что белый день — это не черная ночь, а белая ночь — не черный день, что вещь, интересно рассказанная даже о мухе, становится значительной, увлекает вас, хотя вы вовсе не склонны делать из мухи слона. Но это факт, что муха может конкурировать, и не без успеха, с африканским слоном, если о ней расскажет художник, да, да...

Но я всё же отвлекусь от отвлечений, и на этот раз окончательно... Хотя не сомневаюсь в том, что отвлечения и отступления — самое увлекательное и в жизни и в искусстве.

Вот теперь-то я и отвлекся окончательно и перехожу к поприщу моего главного героя, поскольку моя синяя муха, хотя и не отличалась скромностью, всё же не претендовала

на роль главной героини. Впрочем, это была ее добрая воля, — к незавидной роли ее вынудила недобрая воля автора, завязтого гуманиста и любителя философов.

За что так мне полюбились философы, я и сам не знаю. Но признаюсь, — прямо до смерти люблю эту породу людей, которая всю жизнь размышляет о жизни, не имея о ней даже такого ограниченного представления, как, скажем, синяя муха, об одной из которых будет речь впереди.

Но есть большая отрада в занятиях философией — то ум вскружится, то затмится, то взлетит, то провалится в пучину. Выводов никаких можно не делать, сказать, что всё относительно, абсолютной истины нет, и на этом основании взять под защиту любое злодеяние.

Один мой старый приятель, упраздненный король одной из не очень великих держав, проявивший себя главным образом тем, что извел чуть ли не половину своего народа, не повинного ни в каких преступлениях, так себя оправдывал:

— Всё относительно на белом свете. И оценка исторического деятеля может быть беспристрастной лишь в том случае, если стать на точку зрения руководившей им идеи. Обычные мерки и сентименты здесь не применимы. Какая у меня была идея? Сделать жизнь совершенной, справедливой, создать образцовое общество. Но для этого надо было, прежде всего, следовать мудрому правилу земледельца, который для того, чтобы вырастить хороший урожай, выпаливает сорняки и очищает поле. С этого я и начал. Всем известно, что мое поле находилось в окружении врагов, заражавших своим тлетворным влиянием мои стада. Ну, естественно, я не мог хорошо разобраться, кто чист, кто заражен. Начав полоть, я заметил, что повсюду высятся сорняки, что им предела нет. Потом вдруг оказалось, когда меня уже сбросили с престола, что все они не сорняки, а цветики. Ну пусть они не виновны в сорном происхождении, согласен, но это еще не означает, что они вообще не сорняки, что у них не было сорнячных замыслов заглушить мое поле и вместе с ним и меня. Мне-то хорошо известно, что

все ненавидят начальство — одинаково плохое и хорошее. Мне это очень хорошо известно. Потому что я сейчас живу непрописанным в опереточной державе, передергиваю в картишки довольно крупно, и мне в тысячу раз лучше, чем в то ужасное время, когда я был королем.

Ну вот теперь я уж вволю отвлекся и приступаю к тому, каково же было поприще героя.

Сразу вас огорошу, а уж потом буду приводить в чувство.

Свое поприще — философию — наш герой называл не любомудрием, а л ю б о г л у п и е м или ф и л о к р е т и н и е й. Он даже утверждал, что философы, кроме глупости, еще ничего не придумали, будто они тем и заняты, что болтают маловразумительную чушь и поэтому ничем не отличаются от обычных кретинов — юродивых, святых, пророков, одержимых и прочих психопатов.

В описываемый нами трагический для синей мухи день она вовсе не предполагала той страшной развязки, которая вскоре наступила, — то ли в силу своей недалекости, то ли потому, что мухи вообще привыкли к короткой жизни и мгновенной смерти без мук, докторов, воздыханий и самоанализа.

Она купалась в солнечном золотисто-лазурном океане, и если бы ее не привлек пряный аромат левкоев в синей вазе, стоявшей на подоконнике кабинета, возможно ничего не произошло бы.

Но залетев в мастерскую философа и вдоволь насытившись нектаром, хранившимся в белых чашечках левкоев, синяя муха, то ли из озорства после обильной трапезы, то ли потому, что мухам свойственно приставать к людям, особенно занятым важными делами, — но наша синяя муха стала весьма энергично заигрывать с философом, обладавшим чрезвычайно чувствительной кожей и, вопреки общепринятому твердолобию этой породы, особенно нежным лбом, младенчески розовым теменем, переходившим без всяких заметных рубежей в щекотливую плешь так же стремительно, как улица Горького в Ленинградский проспект.

Философ как раз был занят разработкой волнующей

проблемы о границах разумной дисциплины, и в эту минуту метал грозные филиппики против идеалистов и субъективистов, смешивавших сознательную дисциплину чуть ли не с овечьим тупым смирением и рабской покорностью.

Он писал о том, что осознанная дисциплина формирует социалистическую личность, становится могучим стимулом, и под ее влиянием человек чувствует настоятельную потребность творить добро для всеобщего блага и не только не причинять зла другому индивиду, но даже мухи не обидеть.

Синяя муха, описав несколько спиралей по кабинету с мерным и независимым жужжанием, села на философскую плешь.

Иоанн Синемухов смахнул ее привычным жестом и продолжал невозмутимо покрывать глянцевиую бумагу крупными каракулями, очень походившими на мух, замерших на липучке.

Должно быть, это привлекло внимание синей мухи, а может быть она обиделась на пренебрежительное обращение с нею философа, считавшего, что его жест не мог обидеть муху, поскольку он был человеком социалистического склада.

Но муха была далеко не безобидной. У нее была своя амбиция и поразительная настойчивость в достижении намеченной цели.

Руководясь своей идеей, она неустанно садилась на руки, щеки, лысину, нос, лоб философа, усердно давая ему знать о себе, напоминая о том, что она не какая-нибудь мушка, а синяя муха, величиной с осу, целая мушенция с синими крыльями.

Но Иоанн Синемухов терпеливо отгонял ее, продолжая свои изыскания.

Наконец назойливость ее вывела философа из себя. Муха явно не понимала вежливого обращения. Кроме того, не обращала внимания на изящно оформленный плакат, висевший на стене над письменным столом:

«Ты пришел к занятому человеку — не мешай ему!»

Он бросил в раздражении перо, встал и в течение по-

лучаса гонялся за синей мухой. Но она не давалась ему в руки, словно ветреная и коварная кокетка; он же, продолжая думать о своей работе, досадовал на строптивый дух, так неожиданно проявившийся в обыкновенной мухе, лишенной элементарной дисциплины.

Стоял знойный летний день, воздух звенел, муха жужжала с дьявольским однообразием и неутомимостью, спина у философа взмокла, запотели стекла очков, он уж готов был свалиться от усталости, как вдруг элосчастливая муха очутилась в его влажных ладонях.

— Ступай! — начал он торжественно, бессознательно цитируя Стерна, ибо всю свою предыдущую сознательную жизнь привык, прежде всего, цитировать (для того, чтобы у него родилась самостоятельная мысль в столь неожиданной ситуации, потребовалось бы не менее года).

— Я тебе не сделаю больно, — еще тверже и назидательнее зазвучал его голос, так как синяя муха упрямо билась об его ладони, не внимая словам.

— Я не трону ни единого волоска на твоей голове, ступай на все четыре стороны, бедняжка, мне не к лицу обижать тебя. Свет велик, в нем найдется немало места и для тебя и для меня!

Однако урок благожелательства и мухоловбия не возымел никакого воспитательного воздействия на синюю муху, и на отменное мухоловбие философа она ответила явным человекофобством.

Не успел философ усесться за письменный стол и вновь погрузиться в мысли о разумной дисциплине, доброй воле и прочих превосходных вещах, как синяя муха, с явным злорадным жужжанием, опять влетела в окно и, ударившись с размаху в розовую плешь философа, пребольно ужалила его в самую макушку.

Тут Иоанн Синемухов позеленел, швырнул перо, которое обычно клал с чрезвычайной осторожностью, будто оно было сделано не из прочной пластмассы, а из хрупкого стекла, и поддался самому ненавистному для него аффекту злобы и негодования.

Здесь я должен сделать маленькое отступление..

Меня к этому вынуждает добропорядочность человека, который волей-неволей оказался в щекотливом положении судьи, но должен одновременно выполнять также обязанности прокурора и адвоката, — ибо никто больше не хочет, да и не обязан, заниматься конфликтом, возникшим между философом и синей мухой.

Иные даже недвусмысленно заявляли, что автор злонамеренно сочинил этот конфликт, тем самым оклеветав и философа и синюю муху, вовсе не проявлявшую агрессивных тенденций, — с тем, чтобы косвенным образом подорвать теорию разумной дисциплины и доказать, что в нашей социалистической действительности наличествует разгул стихии.

Но всё это, конечно, злостные наветы.

Как вы увидите из дальнейшего, автор вполне объективен, ничего не утаивал и ничего не приукрашивал, нашел в себе силы рассказать до конца эту печальную повесть.

От роли судьи я вообще отказался, ибо не считаю себя вправе судить другого человека, а тем более синюю муху. По этой же причине я отказался и от роли защитника — ибо я никогда не уверен в правоте одного или другого и не знаю, кого мне надо защищать. Ведь преступник — всегда и потерпевший. Раз его поймали и ему предстоит кара по закону, он уже тем самым страдает гораздо больше, чем потерпевший, который по большей части ничего особенного не потерпел и даже торжествует, как это вообще свойственно добродетельным персонажам. К примеру, человек прикончил гнусную старушонку-процентщицу. Ему бы за это благодарность объявить; а его на каторгу ссылают. Я и воров всегда жалел. Ведь не легкая эта профессия. А какой риск. Но это к делу не относится, я перехожу к дальнейшим событиям, которые изложу с протокольной достоверностью.

Конечно, у иных могут возникнуть сомнения. Скажут, что я, сам того не замечая, как известный гуманист, невольно стану на сторону человека и оправдаю его преступление, сделав глубокомысленный экскурс в его психику, в то

время как муха будет мной пренебрежительно обойдена, — ибо какая может быть у мухи психика?

Но не забегайте вперед. Ведь само название повести, в котором философ даже не упомянут, показывает, что, будучи гуманистом, я могу сочувствовать и мухам, особенно синим, с незаурядным темпераментом. Не исключено, что именно переживания мухи как твари живой, но бессловесной меня больше всего и занимают, потому что бессловесные не могут ни лгать, ни изворачиваться, каковыми преимуществами человек обладает в превосходной степени.

И, признаться, меня до сих пор мучает неразрешенная проблема: кто же виноват?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

И дабы упомянутая... имела свободный вход и выход без каких бы то ни было помех, возражений, придирок, беспокойств, докук, отказов, препятствий, взысканий, лишений, притеснений, преград и затруднений.

СТЕРН

Энергичные, непомерно сильные, изобилующие целыми каскадами цветистых, брызжущих, взбитых, как белковая пена, слов, проклятия, которые философ посылал синей мухе по столь незначительному поводу, очевидно и возымели на него самого то сильное воздействие, которое и привело к дальнейшим роковым поступкам. Нет ничего удивительного в том, что слова, произнесенные в состоянии запальчивости, взбудоражили его, душа взлетела на легких мотыльковых крыльях, приобрела жалобную певучесть скрипки.

— О, муха! Синяя муха, проклятая муха, укусившая меня! Прогнавшая мои светлые просторы, муха! Лишенная элементарной справедливости, человечности и разумной

дисциплины! Полная докуч, беспокойств, помех и притеснений!

Но на синюю муху слова эти действовали значительно слабее, чем ее равнодушное жужжание на философа. Она с изяществом увертывалась от липких ладоней незадачливого ловца человеческих душ и простодушных мух. Но стоило ему только в изнеможении упасть на стул или на диван, как она тут же садилась на его макушку. И вновь начиналось бешеное кружение по комнате. Так продолжалось в течение часа.

Муха, разумеется, не подозревала, что это ее предсмертный час. Она была весела и задорна, как солдат, хвативший кружку водки натошак перед большим сражением, о котором ему еще ничего неизвестно, хотя через час он будет уже лежать ничком на бруствере окопа — спокойный и бездыханный.

И когда философ, наконец, прихлопнул синюю муху, уставшую от забав, двенадцатым томом своих сочинений о разумной дисциплине, она, конечно, не успела сообразить, что гибнет — единственное счастье мух, погибающих от руки человека, а не от лап паука.

Вообще обо всем этом не стоило бы и рассказывать, если бы именно с этого часа не началась трагедия философа Иоанна Синемухова, никогда не обидевшего ни единой мухи. Магия слов сделала свое дело, как только он с отчаянием безнадежности воскликнул:

— Убита!

Он вовсе не был схоластом. Но последовательность считал главным в поведении человека.

В конце концов важен принцип. Если сегодня он убил муху, то почему он завтра не может убить жену, которая гораздо сильнее мешает ему работать, уже много раз жалила его куда больнее, чем синяя муха, и не в макушку, а в сердце. Он ей простил студента, с которым она успела провести вечер, и вовсе не предсмертный, в их спальне — студент пришел к нему сдавать зачет и не застал его дома.

А почему бы не убить заведующего кафедрой, который

упорно сопротивляется публикации его новой работы, непохожей на прежние?

И где же его собственная разумная дисциплина? Да полно — существует ли вообще на свете дисциплина, хотя бы неразумная?

Дальше — больше.

В эту ночь Иоанну Синемухову уже казалось, что все на свете шатко, нет ничего неизбежного, никому не нужна философия, да и он сам.

Синяя муха так же несправедливо погибла, как и его товарищи, невинно осужденные. Очевидно они тоже кому-то мешали, как мешала ему синяя муха.

Вообще если допустить в принципе, что можно убить живое существо потому, что оно кому-то или чему-то мешает... Или потому, что другому его хочется съесть...

Внезапная мысль:

...точь-в-точь как выращивают и обучают молодых людей, чтобы они потом на фронтах — тех же бойнях — убивали друг друга, так как, видите ли, русские мешают немцам — немцы мешают французам — китайцы мешают японцам, — так давайте все передушим друг друга, чтоб уж никто никому не мешал.

Вот его сына убили на войне, его товарищей расстреляли (его сын и его товарищи кому-то мешали), а он сегодня задушил синюю муху, а завтра хлопнет по башке заведующего кафедрой. Честное слово, этот профессор мешает ему в тысячу раз больше жить и работать, чем синяя муха.

Вот какие неожиданные идеи пришли в голову Иоанну Синемухову на смену размышлениям о разумной дисциплине — ведущей идее мира.

Он неожиданно заорал благим матом:

— К чёртовой бабушке все идеи! Отныне я больше не философствую. Я становлюсь синей мухой, которая так любила жизнь, и которую я убил. Теперь я буду на все смотреть просто, как синяя муха... Эти страшные бредовые идеи сделали из меня преступника. Нет права на убийство. Нет ни одного оправдания. Оправдываться умеет всякий.

«В голове каждого здорового человека происходит регулярная смена тех или иных идей, которые следуют одна за другой, как вереница бредней».

Иоанн Синемухов вновь прочел это признание Тристрама Шенди несколько дней спустя после убийства синей мухи. Теперь он как новообращенный подыскивал себе евангелие по сердцу и плечу.

Все что-то утаивали, приберегали на всякий случай, а, может быть, у них и мозги были подобны дымовой вертушке, непрочищенной, в которой мысли гудели, как ветер, но он все их сбыв с рук, так же, как бредни о справедливых убийствах, благородных темницах, санаторных каторгах, рабской свободе, лакейской критике и тошнотворном счастье.

С той поры философ Иоанн Синемухов жил, как синяя муха в свой предсмертный час.

Очистка ума — дело гораздо более сложное, чем очистка совести.

Совесть податлива. Она охотно идет на любые сделки, покладаста и не очень разборчива. В душе она присутствует только формально, как почетный президиум на торжественном собрании. Другое — ум. С ним поладить трудно. Он упрям, не выносит лести, неподкупен, справедлив до жестокости. Он не знает снисхождения, как геометрическая фигура. Даже самый незначительный ум всё же велик и чудесен. Недаром должны были пройти миллионы лет, пока в мозгу питекантропа мог образоваться самый маленький ум, примитивный как вздох, однако уже способный поддаться соблазну Змия.

Поэтому Иоанн Синемухов довольно скоро очистил свою совесть торжественным обетом, что отныне будет прост и не лукав, как синяя муха, не пожелает зла ближнему и не сделает его. Для этого, правда, ему пришлось совершить ряд поступков, требовавших волевого напряжения. Но тут разум оказался его надежным помощником, а не коварным другом, как на следующем этапе, когда Синемухов попытался

проделать с ним ту же манипуляцию, что и со своей совестью.

Некоторые из его бывших цитатно-твердокаменных единомышленников утверждали, что трудность очистки разума от мусора и заблуждений заключается в том, что он защищен от постороннего вторжения бастионами убеждений.

Иоанн Синемухов потратил немало времени для проверки этого положения опытным путем как на себе, так и на других, и вскоре убедился в том, что бастионы эти, названные убеждениями, в действительности являются заслонами, сквозь которые почти никогда не могут проникнуть никакие подлинные убеждения, обычно недолговечные, закономерно изменчивые. Эти же были обыкновенным камуфляжем, за которым хранился всякий мусор, выдававшийся его владельцами за драгоценные сокровища.

Иоанн Синемухов, — кстати, по паспорту Иван Иванович Синебрюхов, уроженец Орла, пятидесяти шести лет от роду, профессор, один сын убит на войне, второй — двадцати лет, студент кинематографического института, жена Евлалия Петровна, тридцати лет с хвостиком, хвостику тоже девять лет, в меру сварлива, домашняя работница Катя, девятнадцать лет, неполное среднее образование, не переносит идиотизма деревенской жизни, дочь бригадира шабашников, соблазненная студентом-кинематографистом во время командировки в колхоз на съемки, — канитель продолжается... — Так вот, Иоанн Синемухов, как он теперь подписывался, — впрочем, его новый труд, подписанный этим именем, еще не стал евангелием от Иоанна, — так вот, Иоанн Синемухов, кстати, он вовсе не претендовал на роль Иоанна Предтечи, не желал, чтобы голова его была преподнесена на блюде даже Саломее, хотя и претендовал на роль пророка, после убийства синей мухи, но сугубо прозаическую...

Так вот Иоанн Синемухов, изобретя множество разных пророчеств, хотел проложить дорогу к людям, — а ведь это самое трудное на свете, — и меньше всего это умеют делать пророки...

Задумав сделаться простым, жизнерадостным, целеуст-

ремленным и незлобивым, как убитая им синяя муха в предсмертный час, и желая, прежде всего, очистить свою совесть и разум... — но накопилось уж очень много придаточных предложений, и я никак не могу подойти к главному, да и сформулировать его трудно. Однако я надеюсь, что вам уже ясно, в чем дело.

ПРОСТОТА, КОТОРАЯ ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Самое примечательное, что захватывало сейчас Ивана Ивановича, когда он во всех деталях восстанавливал в своем воображении предсмертный час синей мухи, это была ее явно выраженная и ярко проявленная свобода воли.

В этой пламенной любви синей мухи к свободе он теперь видел не только мужество, но и героизм, потому что она не могла не заметить, как он гонялся за нею, стремясь во что бы то ни стало изгнать из своего кабинета, который, должно быть, казался ей обетованной землей, раем, а левкой на окне источали аромат древопознания. Пусть у нее было неправильное представление о мире, но разве у него и других оно правильное? Ведь он тоже представлял себе раньше институт философии, книгу, которую он напишет, уютную квартиру, жену — подругу и спутницу, сына, продолжателя его дела, — а что оказалось в действительности? Да и существует ли не то, что рай, а объективная действительность, одинаковая хотя бы для двух мыслящих людей? Говорят, белый свет, а почему он белый, а может быть, черный? Красный? Или серо-буро-малиновый?

Он даже подскочил от удивления, найдя, наконец, уже не гипотетическую, а точную причину происхождения идеализма. Конечно, пифагорейцы, схоласты, томисты, прагматисты — не идиоты или дети, не могут думать, что не существует объективного мира, и будто он не очень хитроумная

комбинация философствующих иезуитов. Они просто деловые люди и понимают, с чем имеют дело. У каждого свой мир, тот, который он себе представляет, тот, из которого можно извлечь пользу, приспособить к своим интересам, а если не удастся, самому приспособиться к более удачливым. Поэтому идеалисты считают тщетными все коллективные погуги человечества. Каждый человек — гражданин неповторимого своего мира, конкурент прочим. И не может быть общих интересов или одинаковых стремлений — в мире каждого человека свои законы, свои цели, свое счастье. Единственное благо, равноценное для всех, это — свобода действий, независимость, как у диких зверей, которых потому и называют дикими, что они не желают покориться человеку и быть им съеденными, а предпочитают сами съесть человекообразных тварей.

Он, Иоанн Синемухов, чтобы приобрести благоденствие, написав трактат о разумной дисциплине, пока убил синюю муху, другие убивают миллионы людей. Но кому нужен его трактат, да и эта хваленая разумная дисциплина, которая по сути дела — известная теория о согласии большинства жить для блага немногих, то есть добровольно уступить им все прелести жизни во имя будущего, которого они не увидят, и которое вообще вряд ли будет?

И даже если существуют такие люди, то он, Иоанн Синемухов, уже им не верит. Они хотят его поймать так же, как он поймал синюю муху, которую, как фальшивый гуманист, сначала изгнал из рая, а потом загнал в ад.

Равенство возможностей и судьбы — для людей, коней, собак и мух!

Так думал Иоанн Синемухов в эти решающие дни.

В развернувшихся событиях, кроме уже известных вам лиц, приняли участие товарищи Ивана Ивановича по институту — Акациев, Дубов и Осинчатый. Все они были ровесники, всех звали одинаково — Иван Иванович. Все трое обладали примерно одинаковой наружностью, более или менее плотные, с умеренными животиками, солидной плешью, стыдливо прикрытой зачесами жидких волос, одинаковыми взгля-

дами, идеями, окладами, положением в обществе. Все, как они сами говорили, были рядовыми членами партии. Но характеры при всем том были у них настолько различными, что по звучанию речи можно было догадаться, кто из них говорит. У Дубова был характер неукротимо-положительный и устойчивый, как у эталона, хранящегося в палате мер и весов. У Акациева — порывисто-восторженный, но не опасный ни для общества, ни для него, поскольку эта черта не проявлялась в самостоятельном творчестве, а лишь в упоительном и самозабвенном цитировании текстов, которые Дубов проносил в оптимистически-назидательном тоне, а Осинаватый — трепеща и припадая, как лист, напоминающий его фамилию.

Их ученая деятельность состояла только в выуживании цитат, их засолке, хранении, а также в комментировании и в отдельных случаях — в смаковании цитированного текста на страх врагам, подобно тому, как человек высасывает мозговые кости под аккомпанемент враждебного и завистливого урчания псов и котов. Высказывание самостоятельных мыслей они считали выходками ревизионистов и нигилистов.

Впоследствии, став изменником, как его называли столпы, Иоанн Синемухов ядовито писал:

«Эти философы, клявшиеся на каждом шагу Марксом, как правоверные — бородой Магомета, твердившие, как по пугаи, что марксизм не догма, а руководство к действию, доказали на практике, что их марксизм — каменная скрижаль, руководство к бездействию или злодейству.

Необходимо также отметить трусливую беспринципную позицию профессора Ивана Синебрюхова, который развивал свою теорию разумной дисциплины, как слепорожденный, не увидел, что социалистическая дисциплина ничего общего не имеет ни с свободой, ни с равенством, ни с справедливостью. Получилась пародия, да еще злостная...»

Эта статья, опубликованная тотчас же после двенадцатого съезда партии, может быть даже нарочито, оказалась камнем, разбившим вконец относительное благополучие Ивана

Синебрюхова, с тех пор ставшего окончательно и бесповоротно Иоанном Синемуховым.

Всё это началось в доме Ивана Ивановича, когда в одну из суббот Акациев, Дубов и Осиноватый пришли сыграть очередную пульку, а заодно и посудачить или, как они выражались, потрепаться на невинные темы.

Они только сделали вид, что пришли как в обычную субботу.

Впрочем, сегодня гости и не намеревались играть в преферанс, судачить и пить цинандали. Ведь они пришли в последний раз — хлопнуть дверь.

Хозяин знал это и даже испытывал некоторый задор, как бывалый воин перед сражением.

Может быть странно, что такое ничтожное происшествие, как убийство синей мухи, произвело переворот в душе философа. Но мало ли странностей в этом мире, который Иоанн Синемухов совсем не склонен был считать лучшим из миров?

При одном взгляде на гостей хозяин почувствовал, что они сделают все от них зависящее, — а зависело от них очень многое: Дубов был деканом, — чтоб не дать ему возможности совершить великие дела. И вовсе не потому, что их обдумали, проанализировали и признали вредными. Они даже толком и не знали, что именно замышлял Синемухов, однако не сомневались в том, что замышляемое им направлено против всего того, на чем зиждилось их житейское благополучие. Если восторжествует Синемухов, они лишатся всех привилегий, а какое им дело до того, что народ при этом получит множество благ.

Они приняли твердое решение работы его не публиковать — им уже известно было, что Синемухов завершает свой новый труд, носивший претенциозное название — «Социализм истинный и ложный» — они знали, какой социализм он называет ложным. Как он только осмелился! Самая попытка произвести переворот в мировоззрении, предпринятая не сверху, а каким-то неизвестным демагогом, чревата опасными последствиями.

Они приняли твердое решение не допустить также, чтобы руководители партии ознакомились с его работой; для этого они сговорились с известными им докладчиками, главная цель которых состояла в том, чтобы никого не допускать к руководителям, излагая им все в ложном свете.

Синемухов их тоже знал. Даже пытался с некоторыми из них говорить. Особенно ему запомнился Михаил Михайлович Архангелов. Это был тонкий невысокий человек лет сорока, с лицом отроческим, иконописным и болезненным, с нежными голубыми глазами мученика, в которых однако порой всплывали светлые льдинки мучителя — на вид ему можно было дать двадцать семь.

Разговор с ним так потряс Синемухова, что он уже не мог его забыть до конца своих дней.

Архангелов вызвал его как раз по поводу этой пресловутой статьи. Но говорить о ней не стал, как будто ее вообще не существовало. Не упомянул и о книге, о которой тоже был осведомлен. Архангелов был вообще человек широко осведомленный и мог бы рассказать множество интереснейших вещей о том, что думает народ, о том, что происходит за стенами монументального здания на Старой площади. Это был безупречно честный человек. Превыше всего для него были интересы партии. Партийная жизнь и жизнь вообще для него были синонимами. Никогда и ни в чем не сомневался Михаил Архангелов. Самые потрясающие события не выводили его из состояния невозмутимого спокойствия. Он никогда не повышал своего тихого голоса. Не потому, что сдерживал себя — он просто не испытывал ни гнева, ни раздражения, не вскипал, не отходил, и Синемухов не мог бы себе представить, что Архангелов вдруг загорелся от страсти, зарыдал от горя, и вообще, что он может быть мужем, отцом, другом, всем чем угодно, кроме партийного работника. Это была особая порода людей, их облик стал для него ясен, когда он познакомился и с другими деятелями, например, Труворовым, Оглядичем, Сытниковым, Курокарповым.

Разговор с Архангеловым он запомнил навсегда.

— Товарищи говорят, — говорил Архангелов своим лас-

ковым голосом иезуита, — что вы отрекаетесь от коллектива, игнорируете партийные собрания.

— Я очень занят, пишу большую работу — это будет новое слово в философии.

— Должно быть, вы болеете, если не приходите на собрание.

— Нет... Я работаю день и ночь. И я надеюсь, что мой труд принесет...

Архангелов глядел на него широко открытыми глазами, в которых всплывали белые льдинки. Это всегда случалось, когда ему приходилось выслушивать нечто, с его точки зрения, непозволительное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Синемухова он смотрел с явным сожалением.

— Вы должны придти на собрание, коллектив поможет вам разобраться.

— Но у меня нет времени заниматься болтовней с дураками и иезуитами. Они могут только принести вред делу и мне.

— Вы больны, товарищ Синебрюхов, — сказал Архангелов тем ласковым голосом, который приводил Ивана Ивановича в содрогание, — вы больны, вам нужно лечиться.

— Я уже не Синебрюхов, а Синемухов, — сказал Иван Иванович и вдруг увидел в окне низкое серенькое небо, запыленный тополь с порыжевшими и всклокоченными листьями, такими редкими, беспомощными и мокрыми от недавнего дождя. Надрывно гудел печальный октябрьский ветер. Иван Иванович неожиданно стал думать об этом тополе, который казался ему вечным и неизменным, но в своей неизменности дразняще-непостоянным, как иллюзионист на все той же пыльной эстраде с линялыми небесами и облезлой декорацией.

Уже не глядя на Архангелова, он сказал:

— Да... Невозможно одному человеку понять другого. Как же тогда — партии, народы? Выходит, что и человечества нет, а сборище глухих...

— Вы больны, товарищ Синебрюхов, — с неизменной интонацией тренированного попугая, не меняя выражения

лица, говорил Архангелов. — Давайте условимся — вы в среду придете на собрание, я тоже приду, и мы всё уладим...

Он встал, а это означало, что разговор окончен.

Может быть, Архангелов был смущен небывалым поведением Синебрюхова. У него был большой практический опыт. И всегда он видел пред собой людей понятных, привычных, смотревших на него, как на начальника, — они говорили тщательно продуманные вещи, в которых не было ничего из ряда вон выходящего, и вообще на свое звание коммуниста смотрели как на должность по совместительству. Что между ними могла быть разница в убеждениях, даже в оттенках взглядов, — он не представлял себе. Инакомыслящий — это враг, хотя бы он даже думал о том, как скорее и лучше построить коммунизм.

Уходя от него, Синемухов уже забыл о том, что сам говорил, а только с ужасом думал, что Архангелов и другие, стоящие за ним, ничего не понимают в том, что происходит в душах людей, с равнодушием палачей уродуют их судьбы и являются серьезной преградой, которая надолго задержит движение к коммунизму и даже могут повернуть вспять колесо истории. Шаг назад уже сделали в главном — формировании человеческих душ. Большинство коммунистов превратилось в отвратительных чиновников, бюрократов, каких свет не видел. «Тщеславие, тщеславие, тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века». Уже в который раз вспоминались слова Льва Толстого, и сегодня они ему показались еще более зловещими, чем в те отдаленные времена.

В своей книге Синемухов писал о первых шагах, о том, как отсесть худшие стороны зла, как это некогда рекомендовал Энгельс, прогнать миллионы чиновников и бездельников, в десять раз сократить количество учреждений, покончить с товарно-денежным фетишизмом, отменить всяческие привилегии, создать единое учреждение вместо советских, партийных, хозяйственных, профсоюзных, — имя им легион.

Но все боялись даже прочесть его книгу, а до руководителей нельзя было добраться из-за целой армии охранников, охранявших руководителей от народа.

Иоанн Синемухов знал, что ему не удастся перешагнуть через этот рубеж, ибо давно известно, что тщеславие сильнее, чем слава мира. Он готов был отказаться от своего авторства, стать синей мухой, погибнуть от руки Михаила Архангелова, лишь бы народ получил его безымянный труд. Синемухов думал, что если так пойдет дальше, погибнет сама идея. А это страшнее всего. В доме Синемухова нередко гостили многочисленные родственники — люди простые, рабочие, колхозники. Когда они все съехались на похороны девяностолетней бабки Авдотьи, Синемухов поразился этим людям словно выходцам из другого мира.

В этот майский день он сделал величайшее открытие. Хотя он не раз бывал и на фабриках и в колхозах, однако ему нигде не случалось слышать что-либо подобное.

Разношерстные люди эти не могли скрыть своей радости, особенно сыновья бабки Авдотьи, которым уж больше не придется навещать строптивную старуху, да еще выплачивать ежемесячную мзду, и все с нетерпением поглядывали на стол, уставленный закусками и графинами с водкой.

Наиболее колоритной фигурой был отец домработницы Кати, Никон Архипович Дуропляс, высокий, рябой, с огромным сизым носом и необычайно длинной шеей, как у гусака. Ему уже минуло шестьдесят пять лет, но выглядел он еще молодцевато, не отлынивал от работы, и в деревне у него было хорошо налаженное хозяйство. Он недавно овдовел и жил вместе со старшей дочерью и зятем, человеком тихим и безропотным. Никон Архипович был одно время председателем колхоза, кажется, одиннадцатым по счету после войны, его сменил нынешний — железнодорожный инспектор Брянского узла. На посту председателя колхоза Никон Архипович ничем особенным не выделялся, так же, как его предшественники, пил водку с бригадирами, заседал, ездил в райком и МТС, выступал на собраниях, — то есть делал все то, чего можно было и не делать, — а работал по-настоящему только

в своем хозяйстве, так как был непоколебимо убежден, что колхозы это одна видимость, толку с них как с козла молока, за двадцать лет существования его колхоза «Герой труда» колхозники ни разу не получали чего-нибудь стоящего на трудодень, — и когда же все это кончится, а хозяйство будет давать доход (не всё будут отбирать за грош), тогда государство отнимет хозяйство, — и крышка. Сын Никона Архиповича, недавно вернувшийся из армии, работал шофером, получал твердую ставку, и у него был другой взгляд на колхоз.

Был среди родственников также заведующий гаражом Петр Афанасьевич и его брат Афанасий Афанасьевич, и третий брат Костя, работавший на фабрике.

Пили одну водку — и женщины тоже. Только хозяйка пила портвейн и презрительно глядела на гостей.

— А у нас опять давеча слушок пошел, что будет обмен денег, — усмехаясь сказал Дуропляс. — Что же творилось в нашей Вязьме. Чисто всю заваль в магазинах посбывали, что никто и брать не хотел. Ловко!

— Так это ж специально агенты этим занимались. Надо же сбить барахло по дорогой цене. Хорошего товара нигде не найдешь, в Москве и то трудно.

— Хороший товар у спекулянта.

— Так у нас завсегда и будет, ёлки-палки!

— И вовек толку не будет. Потому интереса нет у людей, — говорил Дуропляс. — Во всем недостаток. У нас не то, что сахар или там колбасу, белый хлеб и то не достанешь. Достижения! И сколь это народ терпеть будет?

— До скончания века! — прошумели хором.

— Вот у меня план есть, — сказал шофер Афанасий. — Теперь в Сибири идет разворот. Целина, заводы. А народу жить негде — в землянках... Пока еще построят. И с харчем туго. Так вот у меня предложение. Пусть там объявят нэп, частного допустят. Так народ туда поперет... Все казенные чиновники побросают свои места. Вот мы с ребятами говорили — такую можно набрать компанию, да нанебовать повсюду — за один сезон сто тысяч домов построим. Каждой семье дом. Только вольным способом. Все раздобудем. Лес

сами напилим. Лавки заведем — свиней будем откармливать. Житуха будет — только бы чиновники не вмешивались в наши дела. А то если писаря в дело вмешаются, ни черта не будет. А мы, коль уж возьмемся, так пока писаря будут писать бумажки о доме, мы его уже построим — только бы без всякого начальства. И не то что сахар-колбаса, пирожные жрать будут.

— Верно! — крикнул захмелевший Петр Афанасьевич, — народ по настоящему делу стосковался. А у нас одна болтовня да писанина.

— По-нашему, — сказал Дуропляс, — надо перво-наперво закрыть канцелярии. Даже в колхозах сидит дармоедов видимо-невидимо. Как собрать их всех вместе, дармоедов-то, то из них целую армию большую можно создать. У нас в районе чуть не тыща служащих, а их и сотня не нужна.

— Что ж тогда будут делать партийные? Они же ничего работать не умеют, только языком.

— А еще профсоюзы — тоже миллион бездельников. К чертям бы их.

— Пусть каждый работает, тогда дело будет.

— Вот я и говорю, — осанисто продолжал Дуропляс. — Как бы учреждений три четверти к ногтю. И первым делом коммунистов на завод, в поле. И колхозникам жалование положить, как в совхозах. А то у нас шиш. А в случае чего, так пусть государство покупает хлеб на базаре, как при царь-батюшке.

— Надо по-югославски!

— А в Югославии от коммунизма остались только рожки да ножки.

— Там коммунизм деловой. А у нас бездельный. Совсем мы пропадем, ежели так дальше будет.

— Но ведь лучше стало сейчас, — робко сказал Иван Иванович, — в колхозе кое-что получают.

— В одном получают, а в пяти шиш!

— А эти колхозы-миллионеры — тоже липа. Рупь советский чего стоит! За него и царскую копеечку не дашь.

— Не могут партийные болтуны хозяйствовать в стране,

настоящих хозяев надо, купцов, при них Русь богатела, а теперь уж и на стопку водки не хватает.

— А теперь что выдумали. Может, в каких колхозах завелась копейка, так ее отобрать надо — выдумали технику продавать. А чего продавать, на наши же деньги она сделана. Все у нас отбирали, чтобы эти тракторы делать. А теперь опять за них плати. Что ж мы, двуличные?

Иван Иванович был так ошарашен, что не пытался возражать. Гости стали на него смотреть косо и сердито. А, глядя на него с жалостью, Дуропляс сказал:

— Ты, Иван Иванович, напрасно стараешься. От кого ты хочешь начальство защищать? От народа хочешь. Пустое дело. Ты лучше послушай, что народ думает. А то ты и другие очкастые в свои газеты да книги уткнулись, а в них правды и на грош нет. Коммуна ваша от земли оторвана, на небе пасется, вроде как христовы овечки. Не придется она нам ко двору. Хозяйство наладить может только справный хозяин, а не разные секретари, что на машинах шмыгают, ровно кузнечики. Такие только развалить могут — и развалили. Сейчас много хуже, чем при царе, — вот что народ в один голос говорит. Так что поспешайте, а то поздно будет. Мыльный пузырь, сколько ни надувай, всё едино лопнет.

— Ему что, — крикнул опьяневший Афанасий. — Ему за брехню большие деньги платят. Квартира во́ какая, а рабочий человек, с шестью душами семьи, в одной комнатухе, да еще в подвале. Ему защищать начальство можно...

Иван Иванович даже вздрогнул. Ему показалось, что эти разъяренные лица, сине-багровые от выпитой водки, надвигаются на него, размахивающие кулаки мелькали в дымном воздухе. Даже все женщины что-то кричали, глядели на него сердито и вызывающе — сейчас на него набросятся и начнут избивать.

Какой-то незнакомый толстяк размашисто бил свою жену по лицу. Женщина визжала. Поднялся невообразимый крик и шум. Евлалия Петровна заплакала. Иван Иванович бросился к выходу и выбежал на улицу.

Там его встретила непроглядная темень, в которой пла-

вали мутные шары фонарей. Шел холодный дождь. Иван Иванович съежился, будто его хлестали мокрые солоноватые бичи по лицу и губам. И только когда очутился на четвертом этаже большого дома и позвонил, он понял, что стоит у порога Леонида Павловича Останкина.

Вот и хозяин — страшно худой, изможденный, с заострившимися чертами лица, растрепанными волосами, очень походивший на Белинского.

— Ну, иди, иди, чего стал.

Останкин — заместитель секретаря партийной организации института. Как это часто бывает, он во всех отношениях — полная противоположность Осиноватого. И все думают, что его скоро под каким-нибудь предлогом выживут. Останкина избрали в партийный комитет после двадцатого съезда, — пришлось в первый раз в жизни подчиниться воле масс. Еще удивительнее было то, что массы эту волю проявили (Останкина свыше не рекомендовали в состав парткома). Но что поделаешь, отвода нельзя было дать, а на выборах он получил самое большое число голосов. Останкин уже много лет был младшим научным сотрудником. Его диссертацию «Государство и социализм» не только провалили, но еще объявили ему строгий выговор за ревизионистские взгляды; выговор недавно сняли, да и то весьма неохотно.

С Леонидом Павловичем Останкиным Иван Иванович подружился случайно. На партийном собрании, когда Останкин говорил о научной работе в институте, рисуя радужные перспективы, открывшиеся после двадцатого съезда, Иван Иванович с места сказал:

— Ничего не выйдет. Головой ручаюсь.

Осиноватый укоризненно покачал головой и посмотрел на Ивана Ивановича соболезнующе, как на больного. Он тогда сказал:

— Не знаю, чем вызван пессимизм товарища Синебрюхова. Ведь и для слепого ясно, что настали другие времена, аракчеевский режим кончился.

— Из чего это следует? — спросил Иван Иванович с места.

— Хотя бы из того, что уже опубликованы некоторые статьи резко критикующие те работы, которые раньше считались чуть ли не священными.

Иван Иванович саркастически усмехнулся.

После собрания Останкин подошел к Ивану Ивановичу.

— Почему вы думаете, что ничего не выйдет?

— Вы скоро убедитесь сами... Кстати, вы свою диссертацию не пробовали вновь представить?

Останкин смущенно взглянул на него:

— Вы что-нибудь слышали по этому поводу?

— Нет.

— Пробовал... Дубов и Осиноватый сказали, что и сейчас эта работа такова, что под ней мог бы подписаться Эдуард Кардель.

— Та-а-к... А я тоже пишу.

— Приходите ко мне, потолкуем.

Так возникла их дружба. С тех пор прошло уже больше года.

Останкин был неожиданно удивлен тем, что Иван Иванович уже ничем не напоминал прежнего. Услышав его рассказ о происшедшей в нем перемене, вызванной столь значительными обстоятельствами, Останкин сказал:

— Да... Ведь некоторые историки объясняют неудачу Наполеона в Бородине насморком. Думаю, что у вас то же самое. Просто созрели...

— Должно быть так, — сказал Иван Иванович. — Если человек не превращается в труп, хотя бы и живой, всегда приходит такая минута, когда последняя капля попадает в его переполненную душу. А у меня душа была переполнена — очень уж тошно стало от всего, и нет ни одного угла, в котором можно было бы укрыться, да еще семья доконала.

Оба обрадовались, найдя много общего в своих работах. Поиски их шли в одном направлении. Вдвоем уже легче.

Останкин в своей работе «Государство и социализм» доказывал, что эти два понятия на практике несовместимы, — именно государство есть то страшное социальное зло, ко-

торое надо как можно скорее преодолеть, чтоб начать не на словах, а на деле строить социализм.

Иван Иванович в своей книге доказывал, что советский социализм ничего общего с подлинным социализмом не имеет, а уводит народ от конечной цели — коммунизма. Основной просчет он видел в том, что мы извратили учение Маркса, сказавшего, что государство это лишь «иллюзия всеобщности», «суррогат коллективности». И еще более важное: «Все перевороты усовершенствовали эту машину (государство), вместо того, чтобы сломать его».

Мы же не только не сломали старую государственную машину, не только не «отсекли худшие стороны зла» (Энгельс) — тут же, на другой день после взятия власти пролетариатом, а мы, вместо этого, создали бюрократический Левиафан, какого мир не видел, даже не мясорубку, в которой прежние государства перемалывали свои народы, а д у ш е р у б к у, в которой все души превращались в единообразный фарш, из которого, конечно же, не могло получиться социалистического общества, а лишь тот же старый рулет с псевдосоциалистической начинкой. Безличная, блудливая, трусливая толпа занятых бездельников, закостенелых бюрократов, людей работающих не за совесть, а за страх, — вот результат. И невольно вспоминаются слова Ленина:

«Если мы когда-нибудь погибнем, так только от бюрократизма».

Иван Иванович понимал, конечно, что его труд, начиненный такими взрывчатыми идеями, будет встречен в штыки.

Так оно и было.

Архангелов сказал: — Нет!

Но любопытнее всех оказался Акациев, просидевший восемнадцать лет в концентрационном лагере и лишь недавно реабилитированный. Он-то больше всех возмущался. Именно Акациев считал работы Ивана Ивановича и Останкина антипартийными. Он до того дошел, что даже свое многолетнее пребывание в концлагере, в обществе еще четырех-

сот невинных коммунистов, считал славной эпопеей, чуть ли не залогом последующих успехов, не признавал преступности тех, которые тысячами загоняли невинных в тюрьмы. По его мнению выходило, что такой тюремный социализм — все-таки социализм, поскольку якобы все фонды являются достоянием трудящихся. Он, конечно, и слушать не хотел о том, что земля, принадлежащая навечно колхозникам, еле-еле давала им на голодное существование, а рабочие за пару башмаков, метр ткани, кусок колбасы или рюмку водки платили дороже, чем тогда, когда земля и заводы им не принадлежали, и что грабители-купцы зарабатывали в десять раз меньше, чем государственные предприятия. В общем, Акациев готов был простить государству любые злодеяния, хотя считал себя величайшим гуманистом и вряд ли простил бы своему товарищу убийство синей мухи. Такой апофеоз холопства Иван Иванович даже не мог вообразить. Но...

Теперь он пришел к убеждению, что человеческое общество вообще оклеветать нельзя — какую бы мерзость о нем ни сочинили, — действительность ее превзойдет.

ОПРАВДАНИЕ ДРУГА

В таком настроении он пришел к Останкину.

— Что с тобой? — спросил хозяин, с тревогой глядя на гостя, мокрого, взъерошенного, растерянного.

Иван Иванович тяжело опустился в кресло и, глядя куда-то в пространство, заговорил так, будто продолжал давно уже начавшийся разговор, и само собой разумеется, собеседник знает всё то, что было им сказано раньше.

— Происходит какая-то катастрофическая чушь, все-светная ерунда, мировой блеф, когда все игроки делают вид, что у них на руках самые крупные козыри, в то время как эти козыри лежат в колоде. Понимаешь, в чем загвоздка: ведь тогда выходит, что самая игра — это жульничество, шантаж.

Останкин слабо улыбнулся:

— Ты ведь знаешь, что я вообще не игрок.

— А я? — встрепенулся Иван Иванович. — Не выношу никакой игры. Но, оказывается, мы как младенцы играем в жмурки, а думаем, что чуть ли не мир спасаем... тьфу!

— Еще не дошло...

— И до меня... Как это может дойти? Ну, хорошо, мы прокричали на весь мир, что начали новую эру... Это не ново... Мы хвастаемся, что сказали миру новое слово... Ну, хорошо, — вначале всегда бывает слово, такова уж традиция всех летописцев, пророков и апостолов... Но потом оказалось, что за этим словом не только никакого настоящего дела не последовало, но что и самое слово-то сказано без ведома хозяина.

— Народа?

Иван Иванович явно обрадовался:

— Ну, наконец-то ты догадался... Ведь Россия только и делала, что клялась да божилась народом, возвела его в божественный сан, от его имени мы, передовые люди, так называемая интеллигенция, уже целый век болтаем, а он, народ святой Руси, над нами втихомолку смеется по сей день, считает нас если не дураками, то вредными чудаками. Получается знакомый мотивчик, который вертел еще Достоевский на своей бесовской шарманке. Полное повторение! Помнишь, как Шатов уговаривает Ставрогина стать неким божеством и обещает, что за это ему достанет зайца. «Чтоб сделать соус из зайца, надо зайца, а чтоб уверовать в бога, надо бога»... И вот, понимаешь ли, бог найден, как утверждает Шатов, — заметь, Леонид, — Шатов, а не Максим Горький, который утверждал потом то же самое, а за Горьким и мы, грешные. Вот как Алексей Максимович поучал: «добудьте Бога трудом; вся суть в этом... трудом добудьте... мужицким...» — кричит он истерически. А разве мы не то же самое кричим? Но Алексей Максимович забыл то, что сам недавно говорил: — Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума, которые исполняют в жизни народов лишь должность второстепенную и служебную... Народы движутся силой иной. Эта сила есть сила неутомимого

желания дойти до конца, и конец этот отрицается. А какой конец? Никто не знает. Добро и зло — одно и то же. Полунаука дает тысячи полуправд, которые мы считаем относительными. Но я уверен, что из всех этих полуправд никогда не получится правды... Я сейчас убедился, что народ не только не считает, что мы чего-то достигли, а наоборот, — что мы на краю пропасти. Что никакого социализма нет, а одна болтовня, бесхозяйственность, разорение, вранье.

— И впал в отчаяние?

— Впадаю, — сказал Иван Иванович, вопросительно глядя на Останкина.

Тот отрицательно покачал головой:

— Не впадешь. Думать надо. Конечно, — полунаука. Может быть, даже лженаука, как астрология. Но уже у халдейских астрологов было что-то общее с настоящими астрономами. И как известно, на смену астрологии пришла настоящая наука — астрономия. То же самое и с алхимией. Так почему же нельзя думать, что на смену нынешнему марксизму и лжесоциализму через некоторое время, исторически совсем небольшое, век или полвека даже, придет настоящая наука и настоящий социализм. Только ты скажешь, или скорее завопишь, как истый русский человек — терпеху нет! — Ну, я могу тебе только посочувствовать.

— Ты себе посочувствуй. Меня этим не спасешь.

— Не спасать я тебя хочу, Иван. Наш круг завершается. Конец предвидеть легко. Но я оправдать тебя хочу как друга. Показать твою истинную роль будущим зрителям, потомкам. Мы — русские — обязательно должны поначалу наломать дров, а потом уже одумываемся и начинаем чесать затылок. Все несчастье в том, что сегодня мало кто представляет себе, что такое коммунизм и социализм. Тиранический режим сделал свое дело. Наше поколение им отравлено вконец. Пример Акациева, ставшего идейным холуем, наглядное тому доказательство. Поэтому можно будет начать сызнова только лет через пятнадцать, так в году семьдесят пятом, когда окончательно рассеются призраки, вырастет

новое поколение и люди будут действительно думать о будущем, а не о том, чтоб поддерживать схоластические догмы и пошатнувшиеся авторитеты. Что касается народа, то я впервые в нем замечаю подлинное единство. Все поголовно недовольны, — значит лучшее будущее не за горами. Народ примет меры к тому, чтобы выправить положение, потому что он-то хочет жить по-человечески. Ведь душераубка и душегубка — это одно и то же.

Только объединенное человечество способно к разумной общей жизни, то есть к коммунизму. А пока будут идти разговоры о национальном приоритете и суверенитете, будет продолжаться всеобщая свалка, и называй ее хоть тысячу раз социализмом, она не перестанет быть свалкой. Этого сегодня не понимают марксисты, но поймут — жизнь заставит.

— А мы?

— История не сентиментальна. Она ничего не чувствует и никому не сочувствует. Сегодня ничего изменить нельзя. Изменить все могут люди в свое время. Эти люди только еще растут. Ты — Иоанн Предтеча. А предтечам всегда отсекают голову в угоду Ироду и Иродиаде. Наше чудовищно бюрократическое государство отмирать не собирается, и сломать его будет гораздо труднее, чем буржуазное, зато потом быстро наступит коммунизм. Я понимаю, что тебе хочется убежать от него, как убегают дети от слишком заботливых родителей. Но бежать нельзя. Книги, которые мы с тобой написали, хотя и не дойдут сразу до народа, но наши идеи просочатся, и они станут теми катализаторами, которые ускорят процесс истории. Новое всегда побеждает. И не надо отчаиваться, даже когда роженица умирает. Сознание того, что ты открыл для мира новую Атлантиду, более чем утешительно, если тебе даже наверняка не придется пожить на этой обетованной земле.

— Опять та же дурь. На черта мне нужна обетованная земля в будущем? Предположим, я умираю. Останутся мои близкие. Мою жену Евлалию ты знаешь. На днях она мне сказала: «— Какого лешего ты дурака валяешь? Какие-то ду-

рацкие книги пишешь, из-за которых семья сегодня-завтра по миру пойдет». — Я сказал ей, что считаю своим долгом позаботиться и о мире, иначе, пожалуй, ей и по миру ходить нельзя будет, подадут не хлеб, а камень... А она в ответ говорит: «— Плевать я хотела на твой мир. Хоть бы он провалился, только бы Олег уцелел. Пусть хоть миллиард сдохнет, и то еще сволочей хватит. На черта расплодилось столько нищих: кому нужна эта нищая братия?» — Ну, вот, а сынок мой Олег и его ближайшие друзья... О, Господи... Еще комсомольцы... Но пойми, что из таких комсомольцев скорее вырастут фашисты, чем коммунисты. А жадность какая? Домработница у нас Катя. Я ей учиться советую, даже помочь хотел. А она смеется, говорит: «— Меня ваш сынок на постели уже всему выучил. Хватит с меня науки. Вы бы мне лучше жениха денежного нашли». — Ну, что с нее возьмешь? Жена потихоньку дает сыну деньги на кутежи и прочие бесчинства. Вот тебе социалистическая семья. И так — всюду. Но я терплю. Только иногда страх охватывает, — а чего боюсь, сам не знаю...

Перекатный гул стоял над городом, врываясь в комнату, когда затихал разговор. Иван Иванович вслушивался в отдельные звуки — дробный перестук дождя на наружном подоконнике, гудки машин, какие-то выстрелы.

— Большое гонение готовится, — сказал Останкин.

— Меня гонять будут?

— Тебя... — кивнул головой Останкин. — Выгнать хотят из партии. Неудобный.

— А тебя?

— Я что ж — смирный... А ты не присмирел, на рожон лезешь.

— И я тоже долго был смирным, даже цитат подозрительных или неудобных не приводил.

— Дисциплина... — вздохнул Останкин.

— Ты хочешь сказать — палка?

— Дисциплина — это и есть палка. Если бы все добровольно делали и говорили то, что приказывают — тогда о дисциплине и речи не было бы. Партийная дисциплина это

значит — не смей думать, как тебе хочется, безоговорочно одобряй и повторяй все, что происходит и говорится выше. Если хочешь, политики дискредитировали себя больше, чем попы. Фарисейство и ханжество попов не только полностью привилось во всех партиях, но еще с огромной примесью средневековой нетерпимости, в то время как церковь стала терпимой и даже приспособливается к современной науке — возьми неотомизм. А там, где господствует одна партия и все другие объявлены вне закона, — тирания неизбежна. Если не допускается политическая борьба, зачем тогда нужны политические партии? По-видимому, этого не хотят понять. То, что сейчас рекламируется у нас — блок партийных с беспартийными — это, собственно, означает, что между ними разницы нет. Да и в самом деле разницы никакой нет. Официальное определение гласит, что партия — это авангард народа. Но разве члены партии — самые передовые люди в стране? Лучшие ученые, инженеры, писатели, композиторы — беспартийные. Неужели Дубов и Осиноватый — авангард нашего народа? Хорош был бы народ с таким авангардом. Или твои родственники, которые, несмотря на партбилеты в кармане, крестят детей, да еще иконы держат в укромном месте. Обратил ты внимание, что в издательстве нашем беспартийные редактора намного строже, чем партийные? Ну вот... Так что жди нападения и готовься к защите. Я тебе помочь не смогу. Меня тоже третируют, жду, что вот-вот выведут из парткома.

— Видишь ли... чтобы быть коммунистом, а я им буду всегда, вовсе не обязательно быть членом партии. Но это — привычка. В нашей партии коммунистов меньше, чем полпроцента. Будет еще меньше.

— Возможно, что потребуют твою рукопись, так ты ее не давай... Скажи, что еще продолжаешь работать над ней.

— Не потребуют... — махнул рукой Иван Иванович. — Я сам предлагал им — говорят, что нет времени читать. Ведь прочтя, надо что-то сказать. А что могут сказать эти чиновники?

— У каждого свой бес, — раздумчиво сказал Останкин,—

или, выражаясь поэтически, демон. Зачем нужно стремиться образумлять людей, если они этого не хотят?

— Честь...

— Понятие более чем растяжимое. До жути. Если уж убийство невинных не бесчестит вождя, то что говорить о других. Но честь все-таки есть и будет, хотя она попрана сейчас.

— Все возможно...

— Да ведь демон мой настоящий, а не как у других — «маленький, гаденький, золотушный с насморком бесенок» — демон, не ищущий личного благополучия, особнячка, многотысячного оклада, а готовый на любые мытарства.

— Ну, что ж — это вклад в будущее, а мы не получим ничего.

Помолчав немного, Иван Иванович сказал:

— Я становлюсь пифагорейцем.

— Становись чем угодно — в воображении, конечно. Но знай, ты только муха...

— Синяя, — вздрогнул Иван Иванович.

— Хотя бы красная... — невесело улыбнулся Останкин.

— Разве ты не замечаешь, что все начинается с начала?

— Ты насчет Апостола?

— Разумеется... И знаешь, что меня страшит больше всего?

— Догадываюсь. Ты хочешь сказать, что привычка к узде так велика, что даже лучшие скакуны забыли, как их объезжали.

— Да... Но не только к узде, а и к кнуту.

— Что ж, русский человек любит себя посечь... Унтер-офицерскую вдову забыл, что ли? Это, брат, наша неотъемлемая национальная черта. А государство для того и создано, чтобы пороть подданных. Душерубка! И чем совершеннее государство — тем больнее оно сечет и рубит.

— Утешил ты меня.

— Прости, Иван... Да ведь ты не из тех, кои в утешении нуждаются.

Дома Ивана Ивановича встретила заплаканная жена.

Как обычно, она посмотрела на него ненавидящим взглядом, бывшим когда-то задумчиво-серым, а теперь ставшим тусклорыбым. Он никак не мог понять, почему они должны были стать не только чужими людьми, но еще и врагами, которые портят друг другу жизнь на каждом шагу. Ивана Ивановича не утешала мысль, что он готов был любить жену до конца своих дней не потому, что она была лучше других, но потому, что он был лучше, опытнее, старше и ему хотелось сохранить искренность, нежность и хотя бы дружбу. Но Евлалия и слышать об этом не хотела. Ей даже доставляло удовольствие унижать его. Она постоянно подчеркивала, что он старше ее, так что ему стыдно было за свои вспышки страсти, еще порой возникавшие, несмотря на вражду, росшую заметно с каждым годом. Почему она не другая? Ведь есть же другие, есть. Но мало ли что есть на свете?

Потом он стал думать об Апостолове, новом человеке, который начал затмевать горизонт своей большой тенью.

АПОСТОЛОВ

Илья Варсонофьевич Апостолов был уже далеко не молод и ничему на свете не удивлялся.

Человек тяжелого веса, весь круглый, без единой шишковатости или острого выступа, лопухий, с коротким мясистым носом, внушавшим доверие, легкий на подъем, — Илья Варсонофьевич никогда не сжигал того, чему поклонялся, не поклонялся тому, что сжигал, и вообще в душе ничему не поклонялся, ничего не жег, а хранил на всякий случай, никогда не кипятился, а шел по дороге вразвалку, не спеша, с добродушным видом, да так, чтоб никто не мог заподозрить, будто он хочет его обогнать или показать свою резвость, и с другой стороны, — чтоб не оставаться в

тени, чтоб его могли заметить и позвать в случае необходимости.

В юности он позаботился о своей биографии, успел поработать подручным у деревенского кузнеца, что ему позволило законно навести на себя синтетический крестьянско-рабочий лак. Читал он кое-какие книги, но, не в пример иным своим сверстникам, не вознесся там на какое-то седьмое небо, а, зорко разглядев незавидные судьбы ряда мечтателей, пришел к прозаическому, но весьма ценному выводу: поскольку в наше неверное время от великого до малого расстояние короче воробьиного носа, надо претендовать не на величие, а на прочность позиций, — например, быть первым в деревне, где можно прожить в свое удовольствие, гораздо лучше и надежнее, чем в городе, где слишком уж много конкурентов. И действительно, жил он припеваючи, все знали, что за пазухой он никаких сокровищ не прячет, но и камня не держит, чтобы в подходящий момент швырнуть его в голову вышестоящему. Поэтому, когда мудрящие и претендующие начали скопом терять головы и надо было их заменить, ибо свято место пусто не бывает, Илья Варсонофьевич, замеченный кем-то из приближенных вершителя судеб, был избран кандидатом в члены ЦК.

На этот факт народ, конечно, не обратил ни малейшего внимания. Никто в точности не знал и десятой части членов ЦК, не то что кандидатов, но таков удел всех избранников народа. Илья же Варсонофьевич уже прекрасно знал, что народ, хотя во всех книгах написано, что он делает историю, решительно никакого влияния на судьбы не оказывает, выбирает всегда тех, кого велит выбирать начальство, и вообще думает о хлебе едином. И он понял, сей новый кандидат, что попал в ту обойму, бытующую в каждой стране, из которой, как некогда из династий, вербуются вожди разных масштабов.

У Апостолова не было ни выдающихся способностей, ни образовательного ценза для того, чтобы претендовать на слишком уж большой масштаб, и в то время он еще не стремился к нему. Он кое-чему научился в жизни — солидно хранить

молчание, не высказываться на серьезных дискуссиях, повторять и цитировать то, что преподано свыше, в меру льстить, не обижаться на пренебрежение со стороны вышестоящих, смиренно довольствоваться вотчиной краевого масштаба, — и таким образом пожинал скромные лавры, а о плодах и говорить нечего — чего-чего, а плодов хватало.

В бурные годы, когда обожествленная великая личность начала творить суд и расправу над теми, которых она подозревала в молчаливом неповиновении, и устраняла недостаточно поклонявшихся, в душе, может быть, отрицающих ее божественность, — а подозревала она всех без исключения, — Апостолов сидел в своей вотчине тише воды, ниже травы, и даже обнаружил сверхмерную скромность, так что прослыл в глазах великого таким уж малым, что уж если такого не пощадить, то кого же пощадить? А ведь кого-то надо было оставить в живых, хотя бы для того, чтобы они поклонялись. В то время выдвинулись именно подобные тихони вместо смелых, ушедших в небытие. Все это были люди районного масштаба, однако, благодаря безвременью волна их вынесла наверх.

Илья Варсонофьевич не высказывал никаких мыслей, имеющих хотя бы отдаленную самостоятельность, за всю жизнь — Боже упаси! — не написал ни одной статьи. Может быть поэтому он, после многочисленных разгромов всяческих антипартийных блоков, был сочтен одним из тех, которые никогда не нарушали чистоты марксизма-ленинизма, — ведь он и не прикасался к нему, — и занял таким образом руководящий пост на идеологическом фронте и даже начал выступать с речами, если не отличавшимися оригинальностью, то свидетельствующими о том, что он усвоил ходячую терминологию партийного лексикона и не собирается ничего пересматривать в основах, чего смертельно опасались бесчисленные чиновники всех рангов.

Время для всей этой шушеры было тревожное и чревато последствиями. Народ, который все же не удалось привести к одному знаменателю за четверть века небывалой в мире тирании, начал оживать. Прежде всего пошли, как всегда,

анекдоты, доходившие, конечно, и до верхов, — знал о них и Апостолов. Потом начались выступления и на партийных собраниях. Ряд представителей творческой интеллигенции недвусмысленно заявили, что произошло перерождение социализма в бюрократизм, а в кулуарах, в поездах дальнего следования, на пляжах, за бутылкой пива — довольно открыто говорили, что и партия ничего общего с коммунизмом не имеет, а является хорошо знакомой ассоциацией чиновных функционеров, борющихся за власть. Так был, в частности, воспринят большинством, в том числе и Иваном Ивановичем, конфликт пятьдесят седьмого года, когда почти все старые лидеры вылетели из седла.

Тогда многие идеологические руководители растерялись. В партийных журналах появились статьи, подвергавшие критике все решительное, вплоть до истории партии, от священности которой не оставили камня на камне. Все колебалось. Авторитеты рушились. Начались волнения среди молодежи. Забастовки на заводах. Партийные руководители получали целые охапки анонимок, в которых было немало угроз и похабщины. Были смуты и в учебных заведениях.

Тогда Илья Варсонофьевич осторожно, в первый раз в своей жизни, выдвинул лозунг:

— Обуздать демократию! Социалистическая демократия тоже имеет берега.

Его, сверх ожидания, подхватило все племя избранных, как спасительный клич, подняли на щит, завопили на весь мир о том, что необузданная демократия не имеет ничего общего с подлинным марксизмом, что они заставят замолчать тех, которые распоясались. Писателей и публицистов, выступавших с критическими произведениями, назвали людьми клеветующими на свою родину. Было объявлено, что никакого нового курса ни во внешней, ни во внутренней политике не будет. Пошли разговоры, что старый метод убеждения — тюремной решеткой — надо снова начать применять. О злодеяниях недавнего прошлого стали упорно забывать, словно их вовсе и не было. Снова начался звон на весь мир о достижениях. Спутники, летавшие в мировом

пространстве, заслонили все повседневные нужды людей. Большинство населения продолжало жить в ужасных квартирных условиях, по-прежнему трудно было достать сахар, масло, белый хлеб. Даже в столице мира, Москве, трудно было купить полкилограмма сосисок. Ну, зачем сосиски и сахар, когда есть спутники? Холопы ожили. Литература сошла на нет. Читатели даже не требовали нигде, ни в магазинах, ни в библиотеках, советские книги. Всё усиливалась тяга холопов к сотворению нового кумира. Нет житья холопу, когда поблизости нет барина, чтобы поцеловать его в плечико. И поскольку Илья Варсонофьевич высказал столь спасительный лозунг, он представился самой подходящей фигурой для избранных.

Но беда: культ личности был еще в запрете. Неудобно перед Европой. И кто его знает, сколько еще продержится это табу на кумиров. Однако идеологи не унывали. В работах института, с легкой руки директора Дубова, в газетах, журналах, издательствах стали усиленно цитировать Апостола, и его портреты ежедневно напоминали людям, что солнце всходит вновь.

Как это бывает со всеми людьми на свете, большими (не великими) и малыми, Илья Варсонофьевич начал думать, что это — глас народа. «Под голосом народа, как это свидетельствует история, всегда и везде подразумевались устные и печатные выступления, организованные агитаторами и газетчиками» (выдержка из книги Синемухова «Социализм истинный и ложный»). Найдя, что всё это достойно внимания, и вдохновленный соратниками, Апостолов переборщил — сказал несколько фраз, обнаруживших его убожество, но — тем лучше!

Разумеется, Илья Варсонофьевич знал, что слава его дутая, эрудиция ничтожная, — кой-какие познания в выращивании картошки еще трудно назвать академической эрудицией, — он также знал, что народ недоволен, что жить вовсе стало не легче, что цены повышаются, — но стоит ли об этом думать? Ведь и Людовик... надцатый (какой точно, Апостолов не знал) тоже не очень-то надеялся

на свою славу и народную любовь, зато произнес бессмертную фразу: «Для нас хватит, а после меня — хоть потоп». Вероятно, ему тоже было известно, что народ не в таком уж восторге от его речей о выращивании картошки. Может быть и дошло до него, что народ больше волновался по поводу того, что единым росчерком пера отняты двести десять миллиардов, данных займы государству, и хотя их через сорок лет обещали вернуть, но никто на это не надеялся. Много говорили и о повышении цен на водку, указывая, что это даст не меньше, чем займы. Но займы надо возвращать, хотя бы формально. А тут уж без возврата.

Все это ему было известно... Но Илье Варсонофьевичу минуло шестьдесят четыре года. Что ж, — думал он, — если не помянут меня добрым словом, то и хулить особенно не станут. Ведь в сравнении с ним, — я просто гуманист, добрый дядя. В конце концов надо же кому-то держать в руках государство.

Он слишком много думал в предыдущие годы совсем о других вещах, когда не мог уснуть, не будучи уверенным, что утром не проснется в тюрьме. И не потому, что чувствовал за собой какую-нибудь провинность, — но чем он лучше других? И хотя никогда не промолвил ни единого слова в защиту товарищей, невинно осужденных (что ему было хорошо известно), но все-таки опасался, как бы его не заподозрили в сочувствии жертвам. Он хорошо знал, что ему надлежит говорить, но не знал, достаточно ли красноречиво он умалчивает. А теперь все равно — он не настолько наивен, чтоб заботиться о том, что будет после него. И его не особенно беспокоило, где он будет тлеть — в пантеоне или в более скромном месте. Надо сказать, что, несмотря на свой почтенный возраст, он любил выпивку, закуску и тому подобные развлечения.

При встречах с зарубежными делегациями случались, правда, некоторые эпизоды, о которых Илье Варсонофьевич не любил вспоминать. Но ничего страшного и в этом нет, — кто о них осмелится громко говорить? Особенно запомнилась ему беседа с одним французским социалистом.

Когда Илья Варсонофьевич по раз навсегда принятому шаблону начал перечислять ему достижения, сказав, что наша промышленность увеличила свою продукцию за сорок лет в тридцать три раза, а Соединенные Штаты только в три, и что, мол, это доказывает правильность наших идей, француз деликатно заметил:

— У меня был товарищ в колледже. Когда мы начали самостоятельную жизнь, он, человек очень богатый, имел уже доход около миллиона франков в год, а я всего десять тысяч. С тех пор тоже прошло сорок лет. Валюта теперь, конечно, не та. Мой доход увеличился в тридцать раз, а его тоже — только втрое... да, мсье, только втрое... Вот что значит статистика, мсье Апостолов. Про статистику я могу сказать словами одной русской поговорки, что она, как дышло, — куда повернул, туда и вышло. Очень замечательные русские поговорки... Потом еще, мсье Апостолов, мне не ясно, может, потом объясните, что общего с коммунизмом и мирной политикой имеют успехи в ракетной технике, которыми вы так гордитесь, и потом еще, в-третьих, хочется узнать, почему ваши скромные успехи, — ведь и сегодня производительность труда у вас в три раза ниже, чем в Америке, — вы приписываете именно советскому режиму? Многие утверждают, что если бы не было советской власти, успехи русских были бы еще больше, так как ваш бюрократизм изрядно тормозит рост хозяйства, о чем не раз говорили ваши лидеры. Да и уровень жизни вашего народа несравненно ниже, чем в Соединенных Штатах, хотя у вас будто нет эксплуатации. Мы, например, социалисты, считаем, что эксплуатация человека государством несравненно больше, чем частным лицом, и притом бесчеловечнее, — не случайно миллионы людей у вас работали как каторжники, заключенные в лагерях... В-четвертых, у вас даже нет тени буржуазной свободы или демократии. Ваш парламент — это спектакль — три-четыре дня в году. Не случайно тоже, миллионы людей у вас погибли в застенках, чего еще в мире никогда не было. Гитлер только ваш слабый ученик... В-пятых, у вас есть целый класс новых капиталистов, ко-

торым во много раз лучше, чем капиталистам Запада. Они получают ежегодно огромные доходы, ничем не рискуя, не вкладывая никаких капиталов. Ваши министры получают большие оклады, чем американский президент, исчисляя курс доллара по курсу вашей фондовой биржи... В-шестых, вы самую идею социализма так дискредитировали, что даже мы, социалисты, теперь теряем власть над массами, они больше доверяют консерваторам, и в этом тоже ваша вина... Вот я хотел бы вас просить, мсье Апостолов, разъяснить мне все эти противоречия и недоумения.

Илья Варсонофьевич начал возражать с жаром:

— Какой же у нас капитализм, если у нас нет капиталистов?

Но тут француз его не совсем вежливо перебил:

— Вы знаете, мсье Апостолов, я не люблю слушать патефон, а на другом инструменте вы, по-видимому, не играете... Лучше уж пойду смотреть ваш чудесный балет, Галину Уланову. Это ваше достижение бессмертно, хотя я не знаю, что общего между Одеттой в исполнении Улановой, музыкой Чайковского и советским режимом.

Этот чёртов француз потом напечатал ряд фельетонов в газете «Фигаро». Можно себе представить, каковы были эти фельетоны. Но хуже всего то, что в них было много правды, о которой почему-то не приходилось читать Апостолову ни в докладах министров, ни в газетах, ни в советских романах. Откуда этот мерзавец узнал такие подробности? Потрясло Апостолова сообщение о ряде советских ученых, в том числе и о Туполеве. Француз писал: «Советские лидеры помогли своим ученым, в том числе прославленному создателю реактивных самолетов Туполеву, тем, что поддерживали его десять лет в тюрьме как вредителя. Что ж, каждый помогает по-своему. Таков социализм».

Но не таков был Илья Варсонофьевич, чтоб впасть в меланхолию. Он вообще не любил долгих размышлений, тем более, что всё складывалось для него как нельзя лучше. Он видел, что даже народ, проявивший некоторую строптивость, не склонен вести дискуссию о коммунизме, а больше

интересуется хлебом насущным, жилплощадью и прочими благами. Поэтому он нацелил своих соратников по идеологическому фронту на пропаганду и обещания материальных благ. Больше молока, мяса, масла, ботинок! Коммунизм как предмет мало пригодный для народного потребления был отложен в долгий ящик, в порядок дня были включены заменители, эрзацы — малометражные квартиры, утепленные свинарники и прочие фундаменты райского бытия.

Иван Иванович отлично понял стратегию и тактику Апостолова. Он как-то сказал Останкину:

— Ну вот и всё... Слава Богу, с коммунизмом покончено. И так быстро управились — меньше, чем за полвека. С христианством провозились семнадцать веков. Знаешь, Леонид, техника разрушения так усовершенствовалась, в том числе, конечно, и духовных ценностей, что между человеком и роботом вскоре не останется различия. Не исключено, что роботы вообще заменят людей как менее совершенных творений. И в будущем обществе нынешние люди будут считаться чем-то вроде питекантропов.

— Боже, он сходит с ума, — всплеснула руками Евлалия Петровна, и столовая ложка выпала у нее из рук. Разговор шел за обеденным столом.

— Папа, не обижайся, — сказал Олег, — у тебя, слава Богу, есть с чего сходить, чем не могут похвастать другие.

Иван Иванович не ответил и даже не взглянул на сына.

— Леонид Павлович, хотя бы вы на него повлияли, ведь он нас доведет до полного разорения, — медленно, грассируя, говорила хозяйка, глядя на Останкина увлажненными глазами. — Если так пойдет дальше, мы останемся без куска хлеба. Его уже не печатают и печатать не будут того, что он пишет...

— Ну, не так страшно, — сказал Останкин.

Он знал, что все утешения напрасны. Кроме того, он не любил фальшивых речей, унижающих человеческое достоинство. В глубине души ему и не хотелось, чтобы Иван Иванович стал таким же бесхребетным и трусливым созданием, каким он был сам.

После обеда они перешли в кабинет.

Иван Иванович прочел ему новую главу из своей книги. Там были некоторые новые мысли, которых тот еще не знал. И хотя эти мысли пугали его, он им отдавался с какой-то обреченностью.

Некоторое время они молчали. Потом Останкин сказал:

— И после этого ты хочешь, чтобы тебя не отлучили от церкви, то бишь, не исключили из партии.

— Я не прочь бы, — пусть отлучают, — но если бы отлучили как, например, Льва Толстого. По свидетельству его секретаря Булгакова в Ясную Поляну, уже после отлучения, приезжало до пятидесяти тысяч человек в год... А я на что могу рассчитывать?

ПОСЛЕДНЯЯ МУХА РАССЕЯННОЙ СТАИ

За это время произошли события, заставившие Ивана Ивановича глубоко призадуматься.

Все те, которые еще недавно проявили какую-то фронду, каялись, публично бия себя в грудь. Казалось, что вовсе и не было секретного доклада на двадцатом съезде, что это был только сон, о котором даже рассказывать неудобно стало. Общество как будто дремало, собираясь совсем уснуть. В театры не ходили. Читали только Дюма. А главное, пили водку, и это заменяло всё остальное.

К Ивану Ивановичу перестали ходить товарищи по институту, никто его не приглашал к себе. Он остался в совершенном одиночестве, стал даже заговариваться, вести длительные диалоги с самим собой и часто напевал неизвестно как пришедшую ему в голову трансформированную песенку:

Последняя муха рассеянной стаи,

Одна ты несешься, одна ты летаешь,

Одна ты наводишь унылую тень,

И ждешь, что настанет когда-нибудь день...

Иван Иванович часто теперь бродил по осенним пустынным улицам, ведя бесконечные воображаемые беседы.

Как-то он шел под вечер.

Тополиный лист падал густыми струями, ветер его подгонял, и вдоль бульвара текла желтая река, подернутая легкой рябью. Внезапно налетавшие сильные порывы ветра подымали стремительные волны, от которых ввысь отлетали отдельные листки, как желтые комья пены.

Истошно, пронзительно завывал крепчавший ветер, и казалось Ивану Ивановичу, что в этой песне слышится хриплый лающий голос Апостолова, барабанная дробь Дубова, зловещее шипение Осिनатового и сердитая фистула жены, — всех изгоняющих его из жизни с тупой и жестокой настойчивостью.

За что?

Иван Иванович горько усмехнулся невольно заданному вопросу, который вероятно задал себе еще Адам, когда его изгнали из рая.

В последнее время он очень опасался увязнуть навсегда в той зловонной трясине, которая засосала многих его предшественников, — начать упиваться своими страданиями, почувствовать себя обиженным прекраснодушным человеком, которому, по чьему-то меткому выражению, мир должен полтора рубля и никак не отдает, идиотическим хлюпиком, которого извечная пара гнедых — начальство и семья — тащит на голгофу.

Нет, ни за что!

Качаются фонари, шуршат осенние листья, тоскливые, как мысли, как синие мухи, падают большие холодные капли на непокрытую голову.

Они, может быть, ждут, что он сдастся или покончит с собой. Пожалуй, и жена ждет, хотя и ей, и ее потомку не на что будет жить.

Но нет, — он им не доставит такого удовольствия. Ненависть опалает его сердце с отчаянной силой. На зло им он завершит свой труд, доведет начатое дело до конца.

Новая мысль — молния: Бежать!

Как Герцен, он станет швейцарским гражданином, — это не помешает ему остаться русским, настоящим революционером, свободным мыслителем. Тогда он сделает больше и для России и для революции.

Но тут же он чувствует, что у него на это не хватит мужества. Страшная это вещь — любовь к родине. Вот так же, как любовь к женщине — она тебя каждый день гонит, издевается над тобой, а уйти от нее нет сил.

Он старается убедить себя, что родина стала не матерью, а злой мачехой, — но не в силах.

Проходят мимо, тесно прижавшись, девушка и парень, жарко что-то шепчут, блестят глаза, доносятся отдельные слова, обыкновенные слова, слышанные тысячу раз, но при мысли о том, что он не будет слышать этих простых и самых любимых на свете русских слов, его охватывает ужас.

Значит, обречен?

Да. Обречен.

Ну что ж, пусть так. Но не пропадет его любовь, его мысль, его труд. Пусть через годы, десятилетия, но мир примет его дар. Всё проходит и изменяется к лучшему. Снова будет весна, зеленые клейкие листочки, лунное колдовство, соловьиные трели, и, может быть, кудрявый юноша замрет над его книгой, и мысли, родившиеся в его голове, вдохновят его на подвиги, которых не сумел совершить он — последняя муха рассеянной стаи.

СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМЯ

Уже по одному торжественному виду Дубова, Акациева и Осिनатового Иван Иванович понял, что приход их не является обычным. Давно он уже с ними не виделся.

На прошлой неделе их вместе с другими деятелями культуры принимал Апостолов. Разумеется, в списке приглашенных Ивана Ивановича не было. Однако его не забыли. Апо-

столов сказал о нем несколько слов, когда упоминал о людях, уклонившихся от партийного курса и не желавших, по его выражению, идти в ногу с партией, с народом. Но тут же милостиво заметил:

— Конечно, если эти люди проявят добрую волю, мы им поможем.

С этой целью они и пришли — в последний раз — попытаться оказать «помощь».

Осведомившись о состоянии здоровья хозяина, гости прямо перешли к делу. Начал Осиноватый.

— Видишь, какое дело, Иван Иванович... На будущей неделе состоится митинг интеллигенции, на котором видные деятели науки, литературы, искусства выскажутся по актуальным вопросам современности. Для тебя, конечно, не секрет, что твоя деятельность за последнее время вызывает у всех нас серьезные опасения. Ты создал какую-то сомнительную философию, об этом идут разные толки... И вот мы считаем необходимым, чтобы ты публично высказался на этом митинге.

— Для того, чтобы ваши клакеры меня освистали? — глядя прямо в глаза Осиноватому, спросил Иван Иванович.

— Вы слишком неосторожны, — покачал головой Дубов. — Партийная интеллигенция, люди, на которых опирается партия, по-вашему, — не авангард народа, а клакеры?

— Мне думается, — нараспев заговорил Акациев, — что Иван Иванович впал в то печальное состояние, я сказал бы, лихорадочное, которое мне не раз приходилось наблюдать в памятные годы, когда я находился в концлагере. Я и сам, — правда, очень непродолжительное время, — был в таком печальном положении. Знаете, эти грязные нары, чистка отхожих мест, общение с уголовной шпаной... Но потом, когда видишь, что кругом сотни таких же, как ты, честных коммунистов, занимавших видные посты, начинаешь думать, что всё это — лишь обидное недоразумение, из-за которого не следует пенять на нашу великую партию, на нашу счастливую советскую жизнь. Мне жалко было славных ребят из лагерной охраны, которые думали, что мы какие-то преступ-

ники. И все эти восемнадцать долгих лет мы жили всё же по-партийному, у нас была по сути дела настоящая партийная организация, мы поддерживали бодрость друг в друге, старались не отстать от жизни, изучали произведения классиков марксизма, и, как видите, я вернулся бодрым и чувствую себя счастливым...

— Одним словом, — невежливо перебил его Иван Иванович, — вы хотите сказать, что лучшие годы вашей жизни, проведенные на каторге, это и есть та счастливая жизнь, которой вы восхищаетесь.

— Жертвы! — всплеснул руками Акациев. — Без жертв великие дела не делаются. Вы забываете, в каком мы были окружении.

— Таким же, как сейчас.

— О нет... Страны народной демократии...

— Это не меняет положения...

— Очень даже меняет... Наше великое дело приближается к успешному завершению. Мы построили социализм.

— Тюремный! — выпалил Иван Иванович. Ему очень хотелось сдержаться, но не удалось.

— Как!? — рявкнул Дубов.

Осиноватый вскочил, подбежал вплотную к Ивану Ивановичу, губы у него дрожали, колени тряслись:

— Одумайся, Иван Иванович! Что с тобой? Ну да, ты ведь болен, совершенно болен...

— Нет, я здоров, — уже спокойно ответил Иван Иванович.

— Значит, вы не коммунист, — сказал Дубов.

— Коммунист, но не такой, как вы. И коммунистического в вас ничего нет. Так же, как его вообще у нас нет. Я хочу спасти хотя бы идею, пока еще не поздно. А может быть, уже поздно.

— Это контрреволюция! — воскликнул Акациев.

— Вы и не знаете, что такое революция. По-вашему, это просто насильственный захват власти. Но это чепуха — захватить власть и делать то же самое, что прежние властелины, и даже хуже. Вы не понимаете даже простых вещей, ко-

торые понял такой довольно ограниченный писатель, как Эптон Синклер. Больше сорока лет назад он сказал: — Нет для социалистического движения опасности больше, чем опасность сделаться установившимся учреждением... К этому я могу только прибавить: учреждением неприлично старым, более бюрократическим и тираническим, чем восточная деспотия...

Иван Иванович задохнулся и умолк.

— Что же, все ясно... — сказал Дубов.

— Еще Ницше верно сказал, — усмехнулся Иван Иванович, — что образ человека можно скомбинировать из трех анекдотов. Комбинируйте на здоровье.

— Вы больны, Иван Иванович, — трясся над ним Осиноватый.

— Может быть, — махнул рукой Иван Иванович, — всё может быть.

Я И СЕЙЧАС НИЧЕГО НЕ МОГУ

Парторганизация института единогласно постановила исключить Ивана Ивановича Синябрюхова из партии. Однако райком не согласился с этим решением. Секретарь райкома еще до заседания бюро долго беседовал с Иваном Ивановичем, ознакомился с его книгой. Он понял трагедию Иоанна Синемухова и старался разъяснить ему гибельность его поведения.

— Иван Иванович, разрешите мне, прежде всего, задать вам вопрос: как вы мыслите свою жизнь вне партии?

— Я живу для человечества, и если меня исключат из партии, я не перестану быть коммунистом.

— Но ведь вы тогда ничего не сможете сделать?

— Я и сейчас ничего не могу, хотя вижу, что партия совершает грубейшие ошибки, граничащие с злодеяниями.

— Вот об этом я и хочу с вами поспорить. Конечно, аппарат наш поражен страшной болезнью бюрократизма. Но болезнь эту партия преодолет, потому что диагноз поставлен и ведется борьба. Новый метод управления народным хозяйством уже дает себя знать. Предстоят еще реформы. Беда ваша в том, что вы слишком нетерпеливы. Без терпения ничего достигнуть нельзя.

— А с терпением — еще меньше.

— Нет... Придут новые люди, более склонные к крутым поворотам, и всё пойдет по-другому. Сейчас надо обеспечить народ хлебом и кровом. Вряд ли будет полезно, как вы этого хотите, заявить, что у нас нет социализма. Что это даст? Только враги будут злорадствовать.

— Враги всё равно злорадствуют. Нельзя обманывать народ. Сегодня уже народ не верит партии. А если будет сказано правдивое слово, резко осуждены ошибки, проведены кардинальные реформы, то есть увольнение миллионов бездельников, объединение всех наших организаций в одну, свобода печати, — тогда народ, быть может, поверит в наше дело. А мне говорили сотни простых людей, что сейчас хуже, чем при царе. И это говорили не интеллигенты, а простые люди, еле сводящие концы с концами.

Секретарь даже побледнел.

— Не может быть.

— Воля ваша.

— Советую вам, однако, еще раз всё это продумать. Все изменится. Вы больны нетерпением. Отдохните, почитесь.

Ивану Ивановичу был объявлен строгий выговор с предупреждением.

Но от этого ничего не изменилось. Разумеется, его по-прежнему не печатали. Из института его уволили. Как жить дальше?

В это время он тяжело заболел.

Врачи не могли поставить точного диагноза. Симптом

был только один — непрерывная тяжесть в голове. Ему казалось, что в голову его проникло какое-то живое существо и нажимает изнутри на черепные кости. Он почти совсем не спал по ночам. Появились галлюцинации. Он часто видел себя молодым, веселым, беседовал сам с собой, не замечая этого. Жена смотрела на него враждебно, безмолвно, но красноречиво обвиняла в притворстве. Постоянные упреки ее в том, что он довел семью до нищеты, сводили его с ума. Иван Иванович смотрел на нее и не мог понять, почему после двадцати лет совместной жизни, когда она получала всё, что ей хотелось, и даже собаку кормила колбасой и семгой, ежегодно проводила несколько месяцев на курортах, она не только не чувствует к нему ни малейшей благодарности, а вдобавок еще ненавидит его и часто оплакивает свою загубленную жизнь.

Но как ужасно сознавать всё это! Существует ли тогда на свете что-нибудь прочное, для чего стоит пожертвовать хотя бы одним часом своей жизни?

Ивану Ивановичу становилось всё хуже, и он почти не в состоянии был работать.

Дубов с явным раздражением говорил Осиноватому:

— Мне надоело возиться с этим Синебрюховым. У меня есть проект. Что он человек конченный — ясно для всех. Подумать только, сам товарищ Апостолов выразил желание ему помочь, а он ни гу-гу. Неслыханная наглость. Он хочет себя противопоставить всей партии, но мы его огорошим. Вот мой проект: замолчать его. Кто он такой? Популярности у него ни на грош. За рубежом его, слава Богу, не знают, так что с этой стороны, всё в порядке. Я уже говорил с Архангеловым. Он доложит Илье Варсонофьевичу, что Синебрюхов выбыл из строя, а сочинение его ничего особенного собой не представляет — просто бездарная мазня с претензией на оригинальность. Перестанем его замечать. И всё. С голоду не помрет. Он теперь болен, будет получать страховые, потом пенсию.

— Но, видите ли, он всем дает читать свое сочинение. Слухи пошли. Наши студенты волнуются. Может случиться обструкция. Лично против вас.

— Бросьте, я — стреляный воробей.

— Но студенты — это не шутка, об этом могут написать в американских газетах.

— Нет, уж мне позвольте. Студенты не осмелятся. А иначе — вон из института. На Енисей... А что касается американских газет, то мало ли что в них пишут про нас... Посмотрите.

И все начали забывать Ивана Ивановича.

Остались у него, всё же, два человека — Останкин и свояченица Зина. С Зиной он подружился незаметно. Удивительно, до чего могут быть непохожи родные сестры. Или Зину сделала полной противоположностью Евлалии несчастная жизнь, обилие неблагополучий, на редкость неустроенная судьба? Она без слов поняла трагедию Ивана Ивановича. Но избегала его. Может быть, опасалась, что случится что-нибудь непоправимое, еще ужаснее того, что с ней было. Евлалия была гораздо красивее Зины, но бывали минуты, когда Зина так хорошела, будто сбрасывала сразу тяжелые годы, несчастья, и у нее вдруг появлялись крылья, и все лицо преображалось, — и тогда зеркало говорило, что все могло быть иначе.

Но Зина уехала в Тамбов, к своему постылому мужу, — хотя и обещала вернуться.

Останкин стал даже раздражать Ивана Ивановича. Он весь был как бы воплощением бессилия, тупика, безнадежности. Казалось Ивану Ивановичу, что живет он как обреченный, уже свыкшийся с мыслью о близком и бесславном конце. Но сам он не мог с такой мыслью примириться, хотя здоровье его становилось всё хуже.

Теперь он почти все дни и ночи перебирал и ворошил минувшие дни свои, как сугроб осенних листьев, ища в них что-то главное, забытое, ключ к разгадке тайны несчастья, схватившего его за горло и грозившего задушить.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ — МОТЫЛЬКИ

Души знатоков, благодаря долгому трению и тесному соприкосновению с предметами своих занятий, имеют счастье стать под конец совершенными — картинными — мотыльковыми — скрипичными.

СТЕРН

Иоанн Синемухов сначала отмахивался от налетевших роем воспоминаний, как от назойливых осенних мух.

Но потом, зная, что ни убить их, ни рассеять он уже не сможет, ввиду краткости отпущенного ему времени, начал рассеянно перебирать их, постепенно приручать и достиг в этом искусстве известного совершенства. Раньше ему казалось, что такие дикие и необузданные творения, как мухи, комары, страсти, воспоминания не поддаются укрощению и поэтому считал их более опасными и лютыми, чем тигров и пантер.

Секрет заключался в том, что перед лицом неизбежной, точно датированной смерти, которая стоит перед глазами так же отчетливо, как справка из загса, самые страшные воспоминания и совершенно голая правда, прекрасная или уродливая, уже не потрясают душу поздними сожалениями, крушением надежд, стыдом за свою никчемность, бессилие изменить что-либо в этом мире, — не знаю, худшем или лучшем из миров.

Пожалуй, это единственная позиция — на смертном ложе — когда человек не боится правды, не юлит перед ней, не приукрашивает, не хитрит с ней, не приспособляется к прекрасной или подлой действительности, не старается умиливать ее, не бежит трусливо в кусты, не борется, — потому что, приобретя в этот час небывалую дальнозоркость, понимает, что все честные, бесчестные, героические, трусливые шаги, называемые в совокупности жизнью, в одинаковой сте-

пени ничтожны, напрасны и безумны. Но что пользы в познании напрасного?

Но все ночи и дни наплывают на нас
Перед смертью в торжественный час,
И тогда в тесноте, в духоте
Слишком больно мечтать о былой красоте
И не мочь.
Хотеть встать — и ночь...

Перед этой вечной ночью в последний час заката всё выглядит необычайно ярко, и в этом свете Иван Иванович увидел, прежде всего, русого Ванюtku в уездном городишке Чистоплюеве, в уютном домике хранителя дровяного склада на приречной Скотопригонной улице, близ реки Тухлянки, заросшей осокой и айром.

Не случайно он пришел снова на берег этой незавидной, но прекрасной речки, с таким обидно неподходящим названием. Но разве люди называют вещи, события и поступки своими именами? Может это было в незапамятные времена, но уже давным-давно прохожие по земле всё называют так, как заблагорассудится правителям, историкам, и нынче ничто уже своего имени не имеет, а переименовано по многовековому произволу хозяев.

Старики обычно говорят — доброе старое время...

Другие говорят — недоброе старое время, стараясь всячески очернить всё, что было до них — разумеется, для того, чтоб их собственное неприглядное время казалось не таким черным.

Но в свои предсмертные ясные дни Иван Иванович, увидевший сразу множество времен и пространств истории, чужих жизней и свою, сразу отметил, что времена эти почти ничем не отличаются. Всё та же безумная и бесцельная толчея, суета сует, ярмарка тщеславия, драки пьяных и трезвых, одинокие затерявшиеся голоса добрых гениев, вопиющих в пустыне. И по-настоящему хорошим было только детство. Детство человека и детство человечества. Потом и отдель-

ные люди и народы мучились — богатые от богатства своего, нищие — от нищеты, умные — от ума, убогие — от убожества, и те, которые мечтали освободить мир от всех пороков и злодеяний, сами становились величайшими злодеями во имя свободы, еще более жестокими, чем тираны древности.

Но как прекрасно детство...

Иван Иванович вспоминал дровяной склад, как потерянный рай. Вот он бежит по огромным поленницам любимых своих березовых дров. Такие они веселые, белые, пахучие, живые — кора у них шелковистая, улыбчивая, порой еще янтарная слеза глядит на Ваню; сколупнет он ее ноготком, пожует... А какие они длинные — эти поленницы. Ваня воображает, что это целая железная дорога, когда бежит сверху, как по шпалам. Между высокими поленницами — тунели, пещеры, катакомбы. Их можно населить при желании страшными троглодитами или кроткими первыми христианами времен апостольских, и даже рыбу начертить. Одно время Ваня сильно колебался, размышляя над тем, кем ему быть — добрым христианином, как требовали родители, или добрым разбойником, как Арсен из Марабды. Он долго колебался, потому что его соблазнял синий камзол и шелковая канареечная рубашка бородатого кучера Тихона, везшего хозяина дровяных складов и лесопильного завода Луку Лукича Семисчастного, того самого, о котором мама говорила, что он на седьмое небо попал и там семь счастливых достал, а у них хоть и одно, маленькое, зато удаленное, потому что они добрые христиане, не в пример прочим хапугам и сквалыгам непьющие, не гулящие, детей держат в строгости и добронравии, ни на кого злого сердца не имеют, и обращено оно к Вседержителю.

«Как же он держит всех?» — думал Ваня. Тихон, такой здоровенный, и то еле удерживал двух рысаков, а как можно удержать всех жителей города, да еще и жителей других мест, которые, может быть, и не меньше, чем Чистоплюев?

Никак не укладывались в сознании Вани образы Бога и добрых христиан. Да и другие тоже плохо укладывались. И с этим плохо уложенным багажом он отправился в дальнее

путешествие — жизнь. Потому, вероятно, так и получилось неудачно — багаж рассыпался, и он остался яко наг, яко благ.

Вот этот хозяин Семисчастный — мать о нем говорила, что он семижды счастлив, а студенты шумели, что он несчастный хапуга, отец говорил про него, что он надежный хозяин, у такого и работать приятно, а у этого Семисчастливого единственный сын двадцати шести лет застрелился, жена сошла с ума от горя, и он всё рóздал бедным и ушел в монастырь замаливать грехи. Кто же он?

Чем дальше, тем всё менее понимал Ваня: что же происходит на белом свете?

Любил он землю сильно и страстно, даже пустыри за кирпичными заводами, где высились чертополох и колючие репейники — всё любил. И не мог понять, почему за границей земля чужая, не его родина, и он ее любить не должен, а даже должен убивать тамошних людей. Потом он все это кое-как запихнул в душу, как-то оно умялось, улеглось, и он начал писать о разумной дисциплине. Так и представлял себе, что чем плотнее человек всё уложит, умнет в себе, не перетряхивая, не перебирая, тем легче ему будет жить на свете и делать то, что он делает, не задумываясь над самым простым, но и самым главным вопросом — нужно ли то, что он делает, ему и другим?

Уже в детские годы ему пришлось слышать, что та жизнь, которую он видел в Чистоплюеве, — плоха, нужна другая. И он повторял вслед за студентами, приезжавшими на каникулы — да, нужна другая. О ней он узнал и в некоторых книгах. Студенты говорили, что вот придет революция, и жизнь станет прекрасной. Как именно будет выглядеть это прекрасное, никто не говорил, и Ваня бездумно поверил в мечту. Но вот пришла революция, и прошла революция, и ничего прекрасного нет. А будет ли оно? Вера — это вера. Если можно верить в грядущий рай, почему нельзя верить в грядущий ад, тем более, что в ад легче верится, он ближе к действительности, понятнее...

Самое страшное для Ивана Ивановича было то, что всё старьё, которое он мечтал уничтожить, ожило с необычно-

венной силой, а все хорошее, что было прежде, развеялось, как дым. Будто и жизнь стала ненастоящей. Пусть это частный случай, и всё, что говорят окружающие — тоже частные случаи, но ведь он больше ничего не знал. Как же верить? Его товарищи пишут явную неправду. Вряд ли они думают так, как пишут.

И вот он вспоминает тихую чистоплюевскую жизнь, и слезы у него текут из глаз... Очень уж упрощенными стали новые спасители человечества — о них, пожалуй, не Евангелие, а сборник анекдотов напишут.

Но, признаться, я чувствую больше прелести в профессии евангелиста, которая мне кажется всё же поэтичнее, чем участь корифеев реализма. Не так уж весело рассказывать страшные истории, лучше красивые вымыслы, особенно если им верят в течение многих веков далеко не худшие представители человеческого рода.

После столь талантливо сочиненного Христа, в мире появились спасители, уже не придуманные евангелистами. Они провозглашали торжественные манифесты, в которых постоянно фигурировали одни и те же лозунги, поначалу действовавшие на нервы, как литавры, а впоследствии, как погрешки, — к счастью младенческие забавы не подвергаются критике.

Но все эти забавы детей и взрослых всегда были более или менее одинаковы. Кодекс хороших манер, принятых, видно, раз навсегда. Иван Иванович, вспомнив всё это, даже застонал от стыда, боли и отвращения к самому себе, и в голове его пронеслось:

«Как низко могут падать даже самые возвышенные люди! В каждом гении где-то на задворках мозга притаился кретин.

Самая страшная ошибка в том, что мир хотят переделывать насильно. Но из этого никогда ничего не выйдет. Когда никто не будет властвовать над человеком, ни боги, ни полубоги, уйдут из мира страх и фальшь, и человек возродится».

Иван Иванович увидел себя с необычайной яркостью

таким, каким он был до обработки партийными клещами, и каким сейчас снова стал в своей предсмертный час — высоким, стройным, кудрявым, с голубыми, никогда ни перед кем не опускавшимися глазами.

Он решил написать свою исповедь. Эта работа, по крайней мере, облегчит его предсмертный час, который может и затянуться, — врачи так человеколюбивы, что готовы продлить муки больного до бесконечности. Таков гуманизм в нашем мире.

Иван Иванович с большим рвением принялся за работу. Она не только не ухудшила его состояния, как предсказывали врачи, но он даже посвежел, стал себя бодрее чувствовать, и жена с тревогой подумала, что он может поправиться, когда она всё обдумала и решила. Ей так хотелось пожить в свое удовольствие!

Впрочем, Иоанн Синемухов не осуждал ее.

Приготовляя к изданию дневник Синемухова, автор этой повести, разумеется, не сделал никаких поправок. При этом он подумал, что мертвецы счастливее живых. То, что они сделали, не уродуют специально для этого нанятые люди... Да — всё проходит и изменяется к лучшему.

СЖИГАЮ И ПОКЛОНЯЮСЬ

*Склони голову свою, гордый Сигамбр! Поклонись
тому, что сжигал, сожги то, чему поклонялся.*

ИЕЗЕКИИЛ

«... Если вы думаете, что в этой книге найдутся доводы в пользу каких бы то ни было идей, или показ событий с преднамеренно выбранной точки зрения, одобрение одних и осуждение других, — отложите ее в сторону.

Автор не считает возможным заниматься всем этим. Судей он ненавидт, такую постыдную роль на себя не возь-

мет. Судить современников можно через тысячу лет, да и то не с абсолютными шансами на справедливость.

Всё на свете можно доказать, показать, изобразить с любой точки зрения; поэтому так много фальшивых учений, романов, законов.

Механика здесь так проста, что даже не требуется ловкости жонглера или жулика. Она неоспорима в своих манипуляциях и выводах, если этим занимаются официальные инстанции и лица. И все эти учения, романы и законы не могут быть большей частью опровергнуты, ибо этому препятствуют мощные организации, применяющие самые сильные средства борьбы — костры, виселицы, гильотины, пистолеты.

Всё это дает обильный материал для социальной демагогии — все орут: «свобода, равенство, братство!» — а дают упомянутые выше успокоительные средства.

— Так надо же всё это разоблачить! — наступает на меня совесть, и я еле отражаю ее яростную атаку.

Но тут меня омрачает воспоминание о том, что всё это уже было.

Всё на свете было. И всё это запечатлели книги. Зачем же поднимать шум из-за пустяков?

Послушайте:

— Если весь мир, собственно, ничто, к чему же делать столько шума, особенно если истина является чем-то случайным? Разве только сейчас открыто, что вчерашняя истина завтра безумие? К чему же тратить годы юности на раскрытие нового безумия? Единственно несомненный факт — это смерть, потому мы и живем! Но для кого, для чего?

— Для жизни, — отвечу я почтенному Августу Стриндбергу. Никакие противоречия не сбивают меня с толку. Наоборот, — меня способна сбить с толку какая-то последовательность, почти равносильная глупости — так она напрашивается на похвалу за редкую оригинальность. Может быть, я настолько простодушен в своих признаниях, что иные властелины обидятся на такую прямолинейность. Но льщу себя надеждой, что никто из них не примет моих слов на свой

счет. А мне нельзя сфальшивить. Мир мне не простит даже малейшего малодушия. Тем более, что я умираю.

Между прочим, я уже давно ощущаю, что между моим телом и душой установились совершенно новые взаимоотношения. словно тело мое сгорает в пламени высоких мыслей, как пирамидальный тополь, роняя желания, как скрученные листья. А мысль живет, как целый каскад бурных потоков. У меня даже ничего не осталось от самолюбия и самолюбования — этих моторов человеческой души.

Я стараюсь избегать общения с людьми, потому что все выделяют свои флюиды разнообразных видов лжи и фальши. И так как душевное сродство так же действенно, как химическое, то я предпочитаю не подвергаться такой порче в последние часы жизни. Я замечаю также, что произношу слово «человечество» без приподнятости и восторга, а раньше произносил его как тост, — но теперь оно выдохлось так же, как я.

Конечно, я могу порой впасть в меланхолическую сентиментальность, но ведь это сразу бросится в глаза — если человек не хочет лгать, он не солжет.

В хрустальной вазе букет махровых гвоздик пылает, как созвездие Плеяд. Они высоко сияют в зеленом полумраке, как далекие солнца, и мне кажется, что моя постель удалена от них на миллионы миль. Но как яркое звездное сияние, и как далеко вижу я, освещенный плеядами. Мир был прекрасен, и так жалко было уходить из него. Я вообще не выношу разлуку, она мне разрывает сердце, даже когда я расстаюсь с местами и людьми, не принесшими мне ничего, кроме горя.

Но особенно не хотелось пережить последнюю разлуку.

Испугал меня мой друг.

Впрочем, когда я сослался на его слова, он сильно обиделся на меня. Я ему, кажется, повредил, потому что он, гневно сверкая глазами, сказал:

— Только дурак может думать, что правду разрешается говорить публично. Но теперь я вижу, что ее нельзя говорить по секрету лучшему другу.

Так я расстался с другом. И это меня испугало навсегда.

...и вот, когда я что-либо полюблю, то безумно и навсегда.

И я не мог разлюбить друга, хотя он меня сильно обидел.

Помню, я расстался с какой-то девушкой, — это была случайная встреча. Несмотря на свою доброту, я не мог ее продлить. Мы просто ходили с ней гулять в горные леса и там наслаждались по мере сил. Я вспомнил тот вечер, когда она, наконец, уехала, примерно так:

Ветер был резок и порывист. Внезапный яркий проблеск солнца из-за черных туч озарил меня. Восьмиствольная сосна качалась, скрипела и стонала, все стволы ее столкнулись головами и сплелись в клубок. Мы сбежали вниз. Сорвали с себя одежды. Я бросился в пучину. И она тоже. Розовое видение не давало мне выплыть. Я был потрясен и вынес из морских глубин воспоминание о невозможном, сохранившемся навсегда.

Так я вспоминаю, стараясь при этом забыть, что меня поцарапали какие-то водоросли, саднило кожу на ногах, я чуть не утонул, захлебнувшись от неожиданной вспышки страсти, от которой я порой терял сознание. Но природу я никогда не разлюбил, говорил с ней на одном языке, никогда ее не обманывал, так же, как она меня, и даже в полной темноте я мог узнать по голосам, кто ко мне приближается — по строгому гудению жесткой хвои, лирическому бормотанию криптомерий, шумному хороводу берез, трепещущему переплясу осинової листвы, громкому старческому шороху — шопоту дубрав.

Судьба мне улыбалась неоднократно, но улыбка ее всегда была такой печальной и скоропреходящей.

Кто объяснит — почему?

Я так люблю мир, всю землю — ведь не топчу же я ее, как глобтротгеры с туманных островов, я не бизнесмен, не совершал с моей землей никаких выгодных сделок, беру меньше, чем даю, прохожу по ней легко, почти не прикасаясь к

ней ногами, ласкаю любовным взглядом, руками тружусь для ее прославления и лишь вдыхаю ароматы магнолий, цветущих маслин, морских волн и горных лесов.

Но внимая моим восторгам, Красота, обитавшая всюду в первых лесах, озерах и океанах, принимала меня с пренебрежительной вежливостью, как нового гостя, когда за столом и так уже тесно. И так вообще принимала меня жизнь даже в самые торжественные приемные дни — от свидания с возлюбленной в душе всегда оставалась, рядом с усладой, горькая сладость мученика, и, наслаждаясь ароматом роз, я никогда не переставал чувствовать боль от шипов и терний.

Я думаю, что настоящая серьезная жизнь начинается с того дня, когда человек впервые ощутит себя отделенным от всех остальных, не учеником такого-то класса, ни в чем не сомневающимся, остриженным под одну гребенку, не школьным пионером, хранящим в запасе ответы учителей, а пионером жизни, — потому что каждый человек открывает мир впервые, как Америку — Христофор Колумб.

Что же является первым толчком к этому обособлению, когда очередной бог начинает в миллиардный раз творить свой новый мир? Есть только один первоначальный толчок творения — первая любовь.

Вы, конечно, помните, как это начинается — да и можно ли это забыть? Вы были так плотно слиты с массой, что некогда даже неявно различали свой пол — мальчишки и девчонки неотделимы, — и вдруг сердце падает в бездну, вы отделены этой бездной от вчерашней подруги, которую дергали за косы, вы задыхаетесь от неизвестной причины, вы всё перестаете понимать; страшная, жгучая тайна вызывает смятение, вихрь чувств, они как заговорщики, заманивают вас в ловушку, вы бьетесь в капкане, но мир глохнет, не слышит ваших стенаний, никто не приходит на помощь. Это бурлит безумная любовь, чувство переходит в страсть, как превращается в пар кипящая вода, но, перевалив через точку кипения, начинает испаряться, и любовь незаметно переходит в остывающий лед, потому что вы всё-таки обманули друг друга, но вам всё равно, вы ведь и сами себя обманули, всё

шло по закону, вода закипела, испарилась, остыла, и надо ее снова кипятить; и вы даже незаметно начинаете разжигать новый костер, подбрасываете хворост, вот уже пламя взвивается к небу — крутится, вертится шар голубой.

Но догорают костры, вы остаетесь одни, наедине со своими муками и сомнениями. А муки любви заставляют усомниться во всем, даже в смысле жизни. Если все проходит как мираж, то зачем оно нужно? Тут вы замечаете, что как мираж проходит не только любовь, но и все остальное — вера, идеалы, мечты; всё отцветает, падает — растет недоумение, и вот уж чувствуете то, в чем так бесстрашно признался северный бард: вокруг меня воцаряется одиночество, молчание, возвышенно ужасающее, молчание пустыни, в которой я с горделивым упрямством сталкиваюсь с неведомым, тело к телу, душа в душу.

Меня всегда терзал вопрос в каждой моей любовной драме: какая часть моего существа любит — тело или душа? Тут нет никакой мистики. Я не раз чувствовал вражду, ненависть к женщине, без которой я жить не мог; всё в ней меня возмущало и возбуждало до ярости, до безумия. И чем больше я наращивал в душе ненависть к ее порокам, тем больше любил ее и даже самые пороки, возмущавшие меня. Это дьявольская амальгама, и ведь никто не может сказать, как она получается.

И первая моя любовь, которая, может быть, решает судьбу, была девушка с тяжелыми формами пожившей женщины. Душа у нее была путаная, ненасытная, и она мне сама призналась, что душа у нее находится не в том месте, где у всех людей, а где-то ниже, в каком-то адском чреве. У нее была своеобразная теория любви. «Это вовсе не взаимодействие родственных душ, о чем толкуют поэты, — говорила она, — а просто удачный половой подбор, а душа, сердце, вдохновение — придуманные побрякушки».

Она выражалась всегда грубовато, сводила с ума своей звериной чувственностью, и я, восемнадцатилетний, не раз плакал от любви и ненависти, лаская это истасканное обрюзгшее тело.

Я часто забегаю вперед или в панике отступаю далеко назад, страшась того рубежа, на котором очутился вопреки своей воле. Так и здесь я уже дошел до мук, еще не поведав, как я любил и наслаждался. Это может создать неверное представление обо мне. Так в неверном свете луны меняется облик мира.

Чуть ли не с младенчества я был коммунистом, то есть хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все люди любили друг друга и меня, а сердце мое всегда было раскрыто каждому. Помню, когда все проклинали дядю Петю за то, что он пьянчуга, кричали, что он такой-сякой, я расплакался, — до того мне жалко было его, — пьяным он был такой веселый, а трезвым — сердитый и мрачный. Когда я читал книги о приключении пиратов, мне одновременно хотелось, чтобы всем повезло, чтобы те, которые ловят пиратов, поймали их, а пиратам желал удачно замести свои следы и от всего сердца готов был помочь и тем и другим. Только потом у меня появились сомнения: как же сделать так, чтобы все были счастливы, когда у людей такие противоречивые желания? Я сам страстно хотел отнять у соседского мальчишка Митьки трехколесный велосипед и втайне согласился бы даже, чтоб этого золотушного и сопливого Митьку украл колдун.

И опять же забегаю вперед... Я уже был членом партии и думал: если коммунизм — счастье для всех, так почему же все друг другу пакостят?.. И с ужасом вспоминается, что я никогда не видел ни одного счастливого человека.

И все-таки это очень важно, то, что я не мог понять, сразу же оставшись наедине со своей первой страстью, — а это все равно что остаться наедине с миром, который обрушивается на тебя всю свою свалку — поди разберись, — и не мог сразу же понять главного.

Рая, так звали мою первую любовь, с первого же свидания обещала мне райское блаженство. Глаза африканки и тугой шелк ничего не говорили о том, что я увидел потом...

Рая начала с полным знанием дела ту работу, которую в дальнейшем проделывала надо мной жизнь, и, может быть,

успешно завершила бы ее, если бы не внезапное пробуждение, вызванное гибелью синеи мухи от моей руки.

Прошло немного времени — она мне уже изменяла, и я ей, но все же я продолжал ее любить и страдал безмерно. Потом, когда мне изменяли жизнь и женщины, я уже ничего не испытывал. Было только страшновато поначалу.

А сейчас уже не страшно. Осталось немного времени. Другие будут за меня решать вечные вопросы. Это всё-таки отдых. Вспомнились слова Стендаля: — ... и потом кто знает, просуществует ли мир еще три недели?

И вот теперь я убежден, что ничего более серьезного на свете нет, чем то, что у меня было в юные годы, когда я любил Раю.

Ведь ничего лучшего больше не было. Любопытно, что Рая это предсказала мне.

Может быть, поэтому я стал мрачен, как Шигалев, — помните: он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтоб когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого.

С Евлалией я познакомился на катке. Ей было восемнадцать лет, а мне тридцать пять.

Мы катались на коньках и почти ни о чем не говорили. Во всяком случае, я не могу вспомнить, чтобы мы в то время о чем-нибудь серьезно задумались вместе. Не помню как вышло, что я сделал ей предложение, и мы оказались счастливыми супругами.

И смех и грех.

— Товарищ философ, раз вы уже неоднократно вкусили счастье в той или иной степени, так на кой ляд вы всё еще пытаетесь устроить это счастье для всех?

Этот вопросик не прозвучал в моем расстроенном воображении, а задала мне его Зина, сестра моей жены — Евлалии, — женщина непостижимая, называет вещи своими именами, говорит правду, повергая тем в ужас ближних и дальних. Евлалия ее ненавидит и боится, но предпочитает не ссориться: от такой всего можно ждать. Не очень красивая, она

пользуется большим успехом у мужчин. Живет в Тамбове. Муж ее, речной капитан, дома бывает редко, покорно выносит все ее прихоти, любит безумно, ни на одну женщину не взглянет, мухи не обидит, не то что я. При муже мне Зина как-то сказала:

— Он не смеет мне ни слова сказать, даже когда застает меня с кем-то в постели.

Он только поник головой.

— А вы говорите, что нет святых.

Интересно она говорила, Зина. Например, так:

— Мне вообще всё нравится. Я не притворяюсь, а живу. Не то, что ты и другие. Тебе, например, хочется со мной побаловать, но ты боишься до смерти Евлалии. Дурачек, уж так и быть, приду к тебе сегодня.

И так у меня оказался неожиданно новый замечательный союзник. Зина могла бы укрепить мои позиции в жизни. Но, разумеется, она и не думала мне помочь. Она только не издевалась надо мной, но не хотела никого осчастливить...»

И СНОВА — ЖИЗНЬ

Несмотря на усилия врачей, надежды жены и полное отсутствие собственного сопротивления Иван Иванович все-таки выздоровел.

Вернулась Зина. Он говорил с ней ночью. Окрыленный внезапными надеждами, он предлагал ей бежать на край света. Но она слушала его с такой грустной улыбкой, что у него сжалось сердце. Потом тихо говорила:

— Глупый младенец! Ну куда мы убежим от самих себя? Допустим, что я с тобой уеду. Так ты потребуешь верности до гроба... А ты ведь знаешь, в каком месте моя душа. Ты же через месяц топиться пойдешь. Ну, сообразил, младенец? Тебе кажется, что я прекрасная женщина. Может быть, я и лучше, чем твоя корова Евлалия, но, вместе с тем, я и

хуже ее для тебя, потому что она тебя никогда не погубит, а я — наверняка, так как ты имеешь глупость меня любить. Но я-то не могу никого любить, хотя бы ангела небесного. И больше я к вам приезжать не буду. Разжалобил ты меня. А я цену в жизни только удовольствие, потому что всё остальное — суррогат. Ты всё еще примериваешься к святым — хочешь быть не то Христом, не то еще кем-то, а я не могу быть какою-нибудь Магдалиной, я могу быть просто Магдалиной. Без последующей святости. Я бы, пожалуй, скорее соблазнила этого бога; говорят, он был молодой и красивый.

— Страшные ты вещи говоришь, Зина.

— Неужто ты можешь еще бояться? Да что может быть страшнее хотя бы твоей жизни? Давай уж лучше прощаться... Но как следует.

*

Илья Варсонофьевич вошел в свою новую роль так легко и свободно, что даже сам не заметил этой примечательной метаморфозы. По натуре своей он не был склонен к философии, поэтому не знал того, что хорошо знают все актеры, а именно: когда входишь в роль, особенно если она тебе по душе, то настолько с ней сживаешься, что перестаешь ощущать самого себя. И не только мысли, настроения, повадки того, чью роль ты играешь, входят в твою плоть и кровь, но они уже как бы не являются присвоенными, заученными, а твоими собственными, с которыми ты будто родился.

Итак, Илья Варсонофьевич сидел в своем кабинете, выслушивая почтительный доклад Михаила Архангелова. Он закончил так:

— Что касается этого Синябрюхова, то он лишь воображает себя гением, а в действительности — пустое место. Еще осмеливается учить Центральный Комитет...

— Однако как же он дерзнул?

— Да ведь вы сами хорошо знаете, Илья Варсонофьевич, когда случилось это поветрие пятьдесят шестого года, некоторые наши философы решили переделать мир на свой

манер. Все это, конечно, чушь. Синица возмечтала зажечь море.

— Так говорите, ничего особенного?

— Решительно! — с апломбом подтвердил Архангелов.

— Ну, ладно...

Оставшись один, Илья Варсонофьевич еще несколько минут думал об этом странном человеке, осмелившемся не только резко критиковать руководство, но и предлагать кардинальные реформы, чуть ли не целую революцию... Знаем мы таких. Хочет выдвинуться, вылезть вперед. Но с такими нетерпеливыми надо поступать как со всеми фракционерами.

Илья Варсонофьевич невольно вспомнил эпизоды недавней борьбы, когда он чуть было не вылетел из седла. Положение было шаткое, но он сумел вовремя сгруппировать свои силы и уничтожить противника. Он хорошо знал, что никаких серьезных разногласий с побежденными у него не было. А все сводилось к одному — к борьбе за власть. Илья Варсонофьевич был непоколебимо убежден, что всё то хорошо для страны, для народа, что связано с ним, с его пребыванием у власти. И тот, кто не признает его превосходства, не хочет учиться у него, а еще сам хочет учить... Жалкий писака какой-то.

Прочсть и вникнуть в то, что предлагает этот писака, Апостолу даже в голову не пришло. У него нет времени для разных фантастических проектов.

В большом двухэтажном особняке было тихо. За окнами зеленела густая поросль молодого парка, высокая чугунная ограда чернела вдали. Часовой отмеривал ровные шаги.

«Много ли человеку нужно?» — подумал Илья Варсонофьевич.

Михаил Архангелов считал, что сейчас его главной задачей является добить Синебрюхова как явного врага.

Почему Иван Иванович враг, Архангелов не думал. Но знал, что вся работа Ивана Ивановича направлена против таких, как он, Архангелов, и даже против самого Апостола. Архангелов был одним из тех почти святых дураков, про

которых сказал Достоевский: у него только главного толку не было в голове, но маленького подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный общему делу, а в сущности... Апостолу и вообще начальству. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры, — конечно, не иначе как ради общего и великого дела. Но маленькие фанатики хуже и опаснее больших, потому что их масса, и они никак не могут понять служение идее иначе, как слияние ее с тем лицом, которое, по их понятию, выражает эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый, он, быть может, был самым бесчувственным из убийц и притом безо всякой личной ненависти.

У Архангелова даже и лицо было нежное, иконописное, как у святого отрока. Он возмутился, если бы ему сказали, что он — типичный палач или бездушный манекен. Он даже сожалел, что сейчас уже не так просто расправиться с Иваном Ивановичем, как в былые незабвенные годы. Однако надеялся, что этот несдержанный и больной философ сам полезет в петлю. Разумеется, Архангелов потолковал со всеми главными редакторами и был вполне спокоен — никто уж не рискнет напечатать хоть бы строчку из сочинения Иоанна Слянемухова.

Иван Иванович обо всем этом догадывался, твердо решил больше не делать попыток опубликовать свою книгу, а ждать лучших времен. Как все живые люди, он не потерял надежд, хотя понимал, что надеяться не на что. Иногда он впадал в бешенство и отчаяние, но припадки эти были непродолжительны. Он успокаивался и только ежедневно думал об одном:

«Почему же именно его, может быть единственного, который искренне готов помочь человечеству, все сговорились уничтожить?»

Это совпадение он не мог считать случайностью. Для него ясно стало, что это следствие определенного жизненного уклада, системы, одинаково губительной для всех. В конце концов, не от доброй или злой воли людей зависят их

поступки. Так было, так будет. Вот единственный человек, который не желает зла — Зина. Но ведь и она ничем помочь не может.

И разве не он убил синюю муху?

ИЗ ЗАПИСОК СИНЕМУХОВА

«... Приходил ко мне Останкин. Рассказал, что обо мне так отозвался Архангелов: «Он от всех отшатнулся, от великих учителей, идей, всего, что для нас свято».

Я сказал ему в ответ:

— На это я могу ответить словами Шатова: — Кого я бросил? Врагов живой жизни, боящихся собственной независимости, лакеев мысли, врагов личности и свободы, проповедников мертвечины и тухлятины.

Останкин выслушал меня и сказал печально:

— Иван, ты не понимаешь главного — никто тебя не уполномочил высказывать свежие истины и критиковать тухлятину. Чтобы это делать, надо суметь прежде занять соответствующее место. Умный, который думает, что дураки ему позволят себя учить, сам недалеко от них ушел.

— Да, я ведь только синяя муха... Пожалуй, и тебе больше не следует ко мне ходить. На всякий случай...

Останкин ушел очень смущенный. Он хороший человек. Надо его отвадить, а то он под моим влиянием может набедокурить. Я никогда не приносил людям зла. Если думать, что все — подлецы, то я тоже подлец, так как живу не честнее других, так же вру, притворяюсь, трушу, даже перед собственной женой.

Вообще — весело.

Сегодня арестовали моего сына. Этот балбес украл у домработницы Кати золотые часы, а та, в свою очередь, украла у Зины. Катя сама созналась. Ей обиднее всего не то, что Олег украл у нее часы, а что больше не хотел с ней водиться. Она интересно сказала:

« — Часы воровать — так у Кати, а любовь крутить — так с этой рыжей лахудрой. Потому что, видите, она генеральская дочка».

Майор милиции мне сказал, что Олега упекут в лагерь. Евлалия заливается. А мне его ничуть не жаль. Ничего из него не выйдет...

Вчера меня вызвал секретарь райкома. Он был несколько смущен. Долго говорил о том, что никакой труд человека не позорит, что поработав просто с людьми на самой обычной работе, становишься ближе к народным массам, и это мне поможет понять свои ошибки, и тогда я снова смогу работать на своем поприще. После этой получасовой преамбулы, он предложил мне занять должность инспектора жилищного отдела.

— Жилье — это теперь самое важное! — сказал он. — Вы будете в постоянном близком общении с рабочими, увидите, как живут люди. Надеюсь, это вам поможет излечиться от опасных иллюзий. Я сам вам буду помогать.

У меня мелькнула в голове забавная мысль, и я тут же согласился.

.....
Я посоветовал бы всем желающим изучить советскую жизнь поработать в жилищном отделе.

Это замечательная школа.

И беглые заметки, которые я сделал без всяких ухищрений и вымысла, к которым постоянно прибегали Гоголь и Щедрин, потрясли меня самого и вызвали рой размышлений, которыми мне отчасти хочется поделиться с потомками.

На днях мне попала статья журналиста Грибачева. Он справедливо говорит, что лицемерие имеет общеизвестные вершины в классическом иезуитстве, и восклицает: — Понимает ли Джордж Мини, что даже тысячи его поверхностных речей не стоят одной человеческой жизни?

Мне очень хочется задать вопрос Грибачеву:

— Понимает ли он, что тысячи его далеко не поверхностных слов не стоят одной из тех миллионов жизней невин-

но загубленных людей, погибших от руки злодеев, которых он прославляет, чей образ мыслей и жизни он противопоставляет Мини и другим? Вздыхая о том, что в Штатах раз в году линчуют одного негра, кстати самого рядового, подумал ли он о том, что у нас в течение года были замучены тысячи ни в чем не повинных евреев, и не рядовых, а видных деятелей науки и культуры: писателей, актеров, профессоров с мировыми именами? Что были почти полностью уничтожены целые народы: калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары? Что сотни писателей всех республик погибли на каторге? Вспомнил ли Грибачев, проливая крокодиловы слезы об американских писателях, живущих на подавание, справку, которую он слышал на партсобрании московских писателей о том, что в одной Москве сто семьдесят престарелых и больных писателей живут впроголодь?

Впрочем, вряд ли когда-нибудь поймет Грибачев, что выражаясь его словами, «розовый лак умиления» по адресу нашей страны, который течет и низвергается с его пера, не поможет делу коммунизма. Он верно сказал: — Разве не противно элементарному чувству человечности маскировать социальные язвы розочками поверхностного суесловия?

Очень противно! И мне было тошно читать статью эту.

Извините за правду! Но, как сказал ваш близкий родственник Пришибеев:

— Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство по взаимности.

Моя работа в жилищном отделе в первые месяцы совпала с предвыборной кампанией.

Одна пустая комедия, которая так дорого обходится людям. А сколько лживых речей, посулов! Даже выдвинуть в кандидаты нельзя никого, кроме тех, которых назначили свыше. Одного агитатора, очень хорошего и заботливого человека, выдвинули какие-то граждане. И вот ему объявили строгий выговор по партийной линии, за то, что он их не отговаривал от этой затеи.

Я привык работать по ночам, ложусь очень поздно и почти не сплю. И думаю всё об одном. Когда же прекратит-

ся эта комедия? Все говорят, что не нужно никаких выборов, никаких Советов, все они ничего не решают, — пустые разговоры, — да и слишком дорого обходится это.

По-видимому, секретарь райкома, направляя меня на работу в жилищный отдел, конечно, не без ведома вышестоящих органов, не думал, что я всерьез заинтересуюсь работой, которая по плечу опытному дворнику. Как я впоследствии убедился, секретарь райкома и сам не имел представления о том, что происходит в этом учреждении, и не особенно интересовался — ведь он партийный деятель, руководит районом с населением свыше полумиллиона. Ему известно было, что с жильем обстоит неблагоприятно, — но что же делать? Есть еще немало узких мест. Что это неблагоприятие дурными и нерадивыми людьми, взяточниками и прохвостами, превращается в катастрофу, — он конечно, не знал. Но и знать не хотел.

Я всегда глубоко ненавидел чиновников, но полагал, что это просто паразиты, ко всему равнодушные, кроме своей собственной утробы. Но сейчас убедился, что среди них есть немало циников, злорадствующих обывателей, любителей поиздеваться над людьми.

Среди сотрудников жилотдела мне больше всего запомнились сам заведующий Иван Иванович Краснобрюхов и старший инспектор Розалия Абрамовна Загс.

Все, конечно, знали кто я и считали своим долгом обратить на себя мое внимание. Одни пытались меня как лучшего, посланного к их станку исправиться, воспитывать в правоверном духе. Другие высказывали мне как отступнику свое тайное сочувствие, с неприкрытым цинизмом отзывались о работе своего учреждения, даже навязывались в приятели.

Мой шеф Краснобрюхов, по-видимому, не знал, какую ему следует избрать тактику со мной — то ли воспитывать, то ли дружить, — и впадал то в одну, то в другую крайность. Человек он был не глупый, и я был поражен, узнав его биографию, чудовищно не соответствующую тому человеку, с которым я теперь ежедневно общался.

Сын бедного крестьянина, он родился в начале века в захолустном и пыльном южном городке, носившем гордое имя Азов. Еще мальчишкой убежал из дому, поступил помощником кока на небольшую посудину, плававшую под голландским флагом, и объездил весь мир. Особых приключений у него не было, — какая там уж романтика на этой посудине, возившей табак и кишмиш? Ничего особенного, даже скучно. К вину и женщинам у Ивана Краснобрюхова склонности не было, а для других походов не было арены. Ему стало скучно на корабле. Он вернулся на родину, защищал советскую власть от разных банд, поступил в летную школу и стал знаменитым летчиком. В годы Второй мировой войны сбил несколько юнкеров, получил боевые награды, был шесть раз ранен и вернулся инвалидом. Он мог бы, разумеется, прожить на свою пенсию и ничего не делать, но беспокойная натура требовала движения и, главным образом, общения с людьми. Поэтому работа ему понравилась. Чего-чего, а шума, суеты, разнообразных людей, от героев Советского Союза до базарных жуликов, была тьма-тьмуца в грязных и темных коридорах нашего учреждения. Сотни «очередников» приходили чуть свет записываться на прием. «Очередники» — это лица, состоящие на учете как нуждающиеся в жилплощади. Их были десятки тысяч, и ждали они своей очереди по восемь-десять лет, чтобы получить какую-нибудь комнату на целую семью. И чего тут только не услышишься, — особенно проклятий по адресу советской власти. Некоторые ходили сюда почти ежедневно, как на работу, особенно женщины. Жилищные условия этих людей были таковы, что даже описывать страшно. Но наши клиенты рассказывали о них с упоением, словно калеки-нищие, выставляющие напоказ свои гниющие язвы.

Краснобрюхов сидел допоздна, всех принимал, всем обещал, хотя отлично знал, что обещания его невыполнимы. В это же время его сотрудники обдывали свои делишки, брали многотысячные взятки и разводили руками, когда на них набрасывались «очередники».

Но особенно привлекла мое внимание Розалия Абра-

мовна Загс. Я стал бывать у нее, познакомился с мужем, очередным любовником. Если посмотреть со стороны — ничего особенного, обычные люди, повторяющие извечные жесты руками, ногами, душой. Но когда взглядишься, увидишь в них новый вариант Фауста, очередную его трансформацию.

Как трудно однако разглядеть в космическом вихре истинное движение! Я понял, что путь художника должен предварить путь мыслителя, а потом они уже идут вместе через те высочайшие хребты и перевалы, которые доступны только гениям.

Порой мне всё-таки страшновато. Мне кажется, что все дома, сосны, Дубов, Краснобрюхов угрожающе застыли на своих местах и никогда не сдвинутся, хотя это должно быть очень скучно — всегда на одном и том же месте. Но это, вероятно, засада. Меня хотят поймать, не дать пройти сквозь тесный строй, — ведь им известно, что именно я должен сдвинуть мир с мертвой точки. Как они вылупились на меня! И даже сосна стоит, как столб, раскинув крепкие сучья, чтобы меня можно было на ней распять.

Когда живешь на полную мощность, не замечаешь часто, что происходит вокруг, и не ясно понимаешь, что ты чувствуешь. А потом попробуй, вспомни! Воспоминания никогда не исчерпывают действительности, и если обладаешь прихотливым воображением, то легко в нищую суму насыпать все жемчужины мира. Или наоборот: опрокинуть пиршественные столы и глядеть на мир, как на горы осколков и черепков.

Воображение меня всегда обманывало. Проходя по аллеям кладбища, где похоронены мои незабвенные дни, я делаю надписи на могильных камнях, сочиняя свою биографию. Самое ужасное заключается в том, что я никогда ни в чем не был уверен. Я любил, но не знаю, что такое любовь. Жил, но не знаю, для чего, хотя у меня каждый раз была цель, и даже не хватало времени, чтобы всё осуществить.

Каждый прожитый день был мне другом, — но в какой степени? Он ласкал меня рассеянно, иногда дарил медяки,

иногда — золото. Но он был и врагом моим — колот меня, бил, ранил. И ни одного из них я не победил, хотя и не сдался ни разу. И завтра я опять проснусь и пойду навстречу другу с пальмовой ветвью, распростертыми объятьями и с камнем за пазухой.

Кто я такой?

Людам спотыкавшимся, бежавшим вприпрыжку и падавшим рядом со мной, может быть, и казалось, что мы с одинаковым успехом тормозим землю, как податливую девчонку.

Впрочем, это даже им не казалось. Еще не разобравшись ни в чем, я однако с большой силой ощущал свое великолепное гордое одиночество. Так, вероятно, чувствовало бы себя солнце в мировом пространстве, если бы оно обладало таким божественным воображением, как мое. В сравнении с тем, что оно вытворяло, действительность была чем-то столь незначительным и серым, что упоминать не сто́ит.

Кто же я такой? Но сто́ит ли в этом разбираться? А не послушаться ли Паскаля? Он дает такой совет: опасно слишком много показывать человеку, насколько он похож на бестию без того, чтобы не показать его величия. Но еще опаснее продемонстрировать его величие без низости. Однако опаснее всего оставить его в неведении относительно того и другого. Но и очень рискованно их ярко изобразить.

Я еще успею рассказать о трехугольнике Загс. А сейчас мне очень смешно. Честное слово, вся наша жизнь — сплошная гомерическая болтовня: каскады слов, водопады, фейерверки, миллионы тонн печатной болтовни, всесветная радиотрепотня. Пора создать новую науку — болтологию, исследовательский институт болтологии; материала накопилось больше, чем достаточно.

И вот пришел Останкин. Он единственный из моих бывших товарищей, не прервавший со мной связи, несмотря на то, что я его даже предупреждал: лучше ко мне не ходи. Евлалия на него возлагает надежды — может, он всё же уговорит меня бросить свои бредни.

Катя по-прежнему у нас. Вместе с Евлалией оплакивают

Олега, уехавшего в места не столь отдаленные. Конечно, притворяется. Даже отец на нее махнул рукой. Никита Дуропляс иногда посещает ее и за одно поучает меня. Кажется, считает, что я впал в детство. Никита шабашничает пуще прежнего. Купил себе легковую машину. Катя по его поручению тоже обдeldывает разные делишки. Недавно я обнаружил у себя в кабинете сотню пыжиковых шапок. Евлалия посмотрела на меня с независимым видом и гордо заявила: «— Когда имеешь такого мужа, приходится идти на всякие дела. С твоей зарплаты не разживешься».

Так вот Останкин сказал, что ему официально поручили в последний раз попытаться на меня воздействовать. Требуют только одного — публичного раскаяния. Потому-то я так хохотал. Останкин — человек хороший, но, к сожалению, недалекий. Он считает, что поскольку у нас нет капиталистов и средства производства принадлежат государству, значит у нас всё-таки есть, хотя бы в зачаточной форме, социализм, и вся беда в том, что мы его не развиваем. Он понимает, что получилось совсем не то, но боится решительных мер.

Каяться у нас модно. И никто еще не попытался разоблачить эту комедию. Вот и приходится мне, Синей мухе, в свой закатный час совершить то, на что не осмеливаются посягнуть идеологи и художники... Разумеется, и школьник не поверит в то, что установившиеся люди, общественные деятели, писатели могут чуть ли не ежегодно каяться в своих ошибках и клятвенно обещать исправиться. Как будто возможно, чтобы взрослый человек не понимал, что он делает. Все знают, что это пошлая комедия. Но делают вид, что верят. Иначе нельзя. Если разоблачить одно притворство, найдутся любители разоблачить и все остальные. Так может всё полететь к чёрту. Ведь человечество всегда находилось на острие ножа, когда делало серьезные попытки разграничить добро и зло. Диалектика, это, по существу, пропасть. И в этой пропасти накопилось столько противоречий, что мир уже почти весь погряз в их трясине. Это началось с самого начала. Христианство как самая крупная

попытка человечества разобраться в смысле своей жизни уже настолько запутало кардинальную проблему, что даже не оставило лазейки. В самом деле, как можно соединить в одном священном догмате иудейское свирепое «око за око» со смиренным «если тебя ударят в правую щеку, подставь левую»?

Материалисты выдвинули обоюдоострую диалектику, единство противоположностей. Но они не хотят признаться в том, что это единство не ведет ни к какому синтезу, что оно представляет собой два сплетенных тела страшных непримиримых врагов, стремящихся задушить друг друга. Когда же из свалки дерущихся получилась истина? Гуманизм, как справедливо сказал Горький, уже опоздал на две тысячи лет. Сейчас два лагеря дошли до такой ярости, что могут только уничтожить друг друга, хотя немало людей знает, что для человечества выход только один — в прекращении борьбы, в объединении народов. Или родится единое человечество или погибнет весь мир.

Порой мне кажется, что и сам я всё же где-то фальшивлю, как дебютант, неуверенный в себе и боящийся публики. Я не в состоянии разобраться в своих чувствах, мысли часто противоречат и себе и здравому смыслу. Например, порой мне кажется, что я люблю Евлалию, хотя я как будто ненавижу ее. Человек — это какое-то немислимое множество, чемодан, в котором найдешь, что угодно, — поройся только. Потом Евлалия еще красива, это тоже много значит. Людей я презираю, но как меня к ним тянет!

Я ни в чем не уверен, разве только в одном: что я не подлец. Я не подлец, но подлецы вроде Дубова считают меня предателем. Но такие как Дубов, Архангелов, Осиноватый относятся к числу тех людей, о которых потрясающе сказал Достоевский: — Самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом.

Я хотел начать характеристику своих новых знакомых со слов «люди как люди». И тут же расхохотался. Когда же

я, наконец, избавлюсь от своей наивности? Ну, если скажешь: лошадь как лошадь, это что-нибудь да означает. Но сказать: человек как человек, это всё-равно, что ничего не сказать.

Розалия была прелестна, обольстительна. В ее присутствии мужчины чувствовали себя так, словно их пыгали на медленном огне. Особенно выдавал это своим восторженным обожанием ее муж, Моисей Лазаревич Загс, человек тщедушный, облезлый, с геморроидальным цветом лица, большими глазами обиженного пса, липкими губами и руками. Он постоянно и неотрывно смотрел на свою жену с тысячелетней тоской и неудовлетворенностью пилигрима, прошедшего тысячи верст по выжженной пустыне, и вот, он в обетованной земле, изнывающий от жажды, но в подворье все места заняты богатыми гостями, и он слоняется по коридорам, падая от усталости, умирая от жажды.

Розалия говорила своим поклонникам, с которыми у нее были прекрасные и ровные отношения, почти деловые:

— Мальчики, поймите: мой Моська на меня вечно обливается, но у меня же нет возможности с ним заниматься, когда вокруг такие претенденты. Притом у него слишком много желаний и слишком мало денег...

— Розита, а что ты понимаешь в жизни? — спрашивал ее очередной штатный любовник, Ричард Амчеславский, тренированный, жокейского вида, режиссер кинохроники.

Розалия отвечала, не задумываясь, как всегда:

— То же, что все наши. Долой собственность, излишества, да здравствует коммунизм для всех... Кроме меня... Кроме меня, — напевала она на мотив «Севильского цирюльника». — Мы, женщины, которые высоко котируются, это очень хорошо понимаем. С пятнадцати лет я слышу от мужчин, что они желают уничтожить старый мир и отдать мне половину нового, лишь бы потрудиться вдвоем со мной над несложной проблемой деторождения.

— Однако детей у тебя нет.

— Дуралей! Ты забываешь, что мой муж — редактор. А разве тебе не известно, что редактор может творить только

тошнотворные персонажи. Разве я рискну от такого родить ребенка? Он и меня хотел бы переделать в наследку, но руки коротки. Я же не автор, который тотчас же падает... Только такие, с позволения сказать, писатели как наши, могут соглашаться, чтоб их обслонявил мой Моська. А меня читатели любят без редакторской правки, такой, какой меня мама родила.

— Розита, я помню, когда-то ты говорила совсем другое... — робко заговорил Загс.

Розалия гневно перебила его:

— Моська, не смей вспоминать обо мне, как будто я уже умерла. Мало ли, что я говорила когда-то. Я и замуж за тебя вышла — так что из этого следует? Ты еще начнешь меня редактировать, уличать в непоследовательности, двурушничестве и прочих редакторских ужасах... Попробуй только!

Может ли быть что-нибудь прекраснее женщины, которая вся перед тобой — пленительная, разгневанная, желанная до безумия, как райское яблоко на древе познания? И вопрос: есть ли еще что-нибудь на свете, более достойное познания? Я вспомнил свою жизнь: Раю, первые годы с Евлалией, Зину, — и пламенно заговорил:

— Нет, ничего нет лучшего на свете, чем то, о чем все боятся сказать вслух.

— Я понимаю вас, Ваня, — сказала Розита. — И, может быть, я постараюсь вам помочь. Все зависит от желания.

— Можешь ты иметь жалость к человеку? — спросил Амчславский.

Розалия смеялась. Ее высокая грудь в красной шелковой кофточке вздрагивала, как знамя на ветру:

— И это говоришь ты, Ричард Комариное Сердце! Как будто сегодня есть на свете человек, который может пожалеть другого. Будьте уверены, что если бы вдруг появился этот смешной старик и задумал бы устроить всемирный топ, он не нашел бы десяти праведников и даже подходящего кандидата на пост капитана Ноева ковчега. Мне нра-

вятся эти гуманисты. Спросите Моську, и он вам скажет, что такое гуманизм.

Розалия покровительственно кивнула мужу, и он, воодушевившись яростной надеждой на возможность ночной награды, задыхаясь прокричал фистулой:

— Ха-ха! Гуманизм! Почему я должен ломать себе голову над спасением тунеядцев, которые только о том и думают, чтобы уничтожить друг друга? Мир накануне гибели. Нынешнее человечество ясно доказало, что оно вполне достойно гибели. Я — гуманист и потому считаю, что надо с ним покончить. Возможно, что кое-кто уцелеет, но, по правде сказать, я не уверен, что они сделают что-нибудь хорошее, если среди оставшихся будут люди старше трех лет.

— Bravo, Моисей! — захолопал в ладоши Ричард Амчславский. — Вот это коммунист!

— Ты не думай, Ричард, что ты уже все знаешь про коммунистов. Я могу тебе шепнуть, что нас еще, может быть, не успеют съесть червяки, как коммунисты начнут дубасить друг друга, а американцы, вроде Моргана, будут хлопать в ладоши от радости, что за дешевую плату смотрят такой спектакль. И увертюрочку к этому спектаклю мы уже видели: два вождя коммунизма, Сталин и Тито, — ну, остальное ты понимаешь.

Моисей Загс меня заинтриговал. И я с ним стал беседовать. Как-то рассказал ему о своих злоключениях. Он потирал свои липкие руки, слушал меня с наслаждением, потом сказал, слегка повизгивая:

— Правильно! Я тоже действую на манер Дубова. В нашей редакции я не пропускаю ни одного произведения, где есть хоть намек на истинное положение вещей. Каждый человек, и в особенности писатель, который говорит правду, — враг народа. Довольно и того, что о правде шушукуются. Наши редакции находятся в руках надежной банды. Ни один уважающий себя редактор не допустит и слова правды.

— Хорошо что еще случаются ошибки, вроде как у нас женщин — выкидыши, — сказала Розалия.

— Ну, это редкость, — злорадно подхватил Загс, — мы абортируем правду в самом зародыше, и теперь уж ни одна благонамеренная творческая личность не забеременеет правдой — они никогда не балуются со своими музами без предохранительных средств.

— Ага. Ты хочешь сказать, Моисей, что этот метод и есть социалистический реализм, — сказал Амчеславский.

— Можно согласиться. Ведь никто на свете не знает, что означают эти два слова. И вообще — творческий метод! Это всё равно что говорить о творческом методе производства людей. Каким методом сделали красавицу Розалию или урода Моисея Загса? А? Произведение искусства — это самое великое чудо на свете. Но у нас говорят, что чудес не бывает. Поэтому я считаю своим партийным долгом уничтожать чудеса. Хорошо графу Толстому — Льву, и другим львам, что они вовремя догадались умереть. Будьте уверены, попади в наши руки «Война и мир» или «Братья Карамазовы», так мы бы из них «Бруски» сделали! Я бы поработал годик с автором, и из этого беспутного Ивана Карамазова вышел бы кавалер золотой звезды. А вы говорите...

— Моська, ты становишься на моих глазах слонем. Мальчишки, я боюсь с ним остаться на ночь, понимаете? Он же может, пользуясь вашим отсутствием, сделать из меня героиню Бабаевского, и вся моя работа под Достоевского пропадет даром.

— Не бойся, Розита, он слишком вошел в свою роль редактора. Но с такой девочкой, как ты, даже редактор может стать человеком, — сказал Амчеславский.

— Ричард, прошу без личностей, — сказал Загс.

— Моисей, разве мне нельзя как другу сделать тебе комплимент? Не будем ссориться. Слава Богу, у нас есть что делить. Друзья, приглашаю всех в «Прагу», выпьем, потанцуем. Я получил гонорар за свою колбасную картину — показал, знаете, пользуясь методом социалистического реализма, расширенное воспроизводство колбасы.

— Да? Когда же она выйдет на экран?

— Это другой вопрос. В припадке вдохновения я увлекся

и на пленке произвел слишком много колбасы, сосисок, сарделек; но, говорят, что публика может начать скандалить, станет в очередь перед экраном — ну, сами знаете, что из этого получится. Так что пока ее решили не выпускать на экран.

— О, Боже мой, — внезапно опечаленная и помолодевшая, как березка в мае, сказала Розалия. — люблю всё красивое, но даже самая красивая ложь безобразна.

— Ты слишком умна, Розита, — сказал Амчеславский, — так ты можешь испортить себе жизнь красавицы, признанной всеми.

Розалия его не слушала. Я смотрел на нее с восхищением. И все вокруг показалось мне окрашенным геморроидальным цветом Моисея Загса. Тень, падавшая от него на жену, поглощала ее красоту, как ночной сумрак, обесцвечивающий самые яркие цветы. Я посмотрел с ненавистью на Загса, Амчеславского и свое отражение в зеркале. И не осмелился больше взглянуть на Розалию — ведь она принадлежала этим грязным скотам. И вся земля принадлежала им. — Я пришел не вовремя, час мой еще не пробил, но не кричите — я уйду от вас, уйду навсегда.

Работали в жилотделе, как во всех учреждениях, усердно.

Я тогда понял великий секрет — как можно проделывать множество разных манипуляций с утра до ночи и заставлять еще десятки тысяч людей суетиться, безвозвратно тратить на эту суетню миллиарды рабочих часов, не только не делая чего-нибудь полезного или хотя бы осмысленного, а принося один вред и муки людям.

То, что происходило в нашем жилотделе, повторялось на всей русской земле в десятках тысяч таких же грязных и заплыванных канцелярий.

Тысячи людей ежедневно осаждали нашу контору. Они добивались одного — жить в человеческих условиях. Уже слишком долго, целые десятилетия прожили они в условиях нечеловеческих, спали вповалку, задыхались от нечистых

испарений. Семья в пять человек обычно занимала площадь в семь-восемь метров. Они могли рассчитывать на двадцать, но для этого им надо было ходить в наши благоугодные заведения восемь-десять лет — кланчить, умолять, проклинать, падать в обморок, закатывать истерики, ругаться на чем свет стоит. Приносить сотни заявлений, справок, ходатайств, врачебных удостоверений... Наша задача, как и всех двадцати миллионов советских служащих, заключалась в одном — тянуть возможно дальше, давать неопределенные обещания, никому и ничему не верить, требовать бесконечное количество справок, уличать, проверять, контролировать.

Краснобрюхов меня поучал:

— Ты — первоначальная единица, первично проверяешь заявителей. Розалия Загс как старший инспектор проверяет тебя. Юрист контролирует вас обоих. Потом вас проверяю я и моих два заместителя. Меня проверяют, — он стал загибать пальцы, — инспектор райсовета, р-р-р-аз, инспектор райкома — д-д-два, зампредрайсовета Иван Соловей — т-т-ри, сам пред Мосолкин — ч-ч-четыре, потом несть числа — работники госжилуправления, Моссовета, Госконтроля, комиссии Верховного совета, прокуроры, инспектора государственной безопасности — и так без конца.

— Все проверяют, а что же делают?

— Чудак! Делать-то нам всем нечего. Выписать ордера — дело плевое. Наша уборщица могла бы с этим справиться, не нарушив, притом, справедливости, потому что она уже знает всю очередь наизусть, у многих детей крестила, один парень даже хотел на ней жениться, несмотря на то, что ей пятьдесят лет, надеясь на протекцию, но она отказалась за него выйти — больно зашибает. А жилплощади — чуть. Была бы жилплощадь, а мы никому не нужны. Лучше бы мы все пошли дома́ строить.

— Конечно, — обрадовался я.

Краснобрюхов устал махнул рукой:

— Эх ты, морская романтика. Это же не серьезно. Кто пойдет? Никто не хочет строить, все хотят бездельничать. Даже и строители сами работают — не бей лежачего. Посмо-

три на стройки нашего района. Ребята наши ездили в Америку и говорят, что там дом, большой, строят три-четыре месяца, а у нас — пять лет, и не потому, что не умеют, а потому, что... Ну, и так далее. Но ты, пожалуй, скажешь, что вся советская власть — скопище бездельников?

— Скажу.

— Ну, брат, не нам с тобой учить советскую власть.

— А кому учить?

— Ученого учить... ты попробуй докажи, что он не ученый. Сами с усами.

— А не с носом?

— Ну, иди, брат, работай, а то дофилософствуешься.

И я работал.

Требовал бумажки. Побольше бумажек!

Люди, приходившие ко мне, толпились в узком коридорчике сиротливые, несчастные, подавленные тысячами тонн невыносимой свинцовой печали. Из глаза, отрешенные от мира, глядели на меня, как на Монблан, и, казалось, говорили: — Ну, как же тебя сдвинуть?

Они прятали свою ненависть, как женщины прячут скомканые носовые платки, мокрые от слез. Чужие жизни, непостижимые для меня, накатывались на мою душу, как морские валы, неся гальку и водоросли, которые били, облепливали меня. Я воочию увидел, как самое страшное чудовище пожирает людей, я видел, как сочится их кровь, я видел, как дымятся их разорванные сердца, и как один из миллиона зубов жевал их, не в силах остановиться — ведь я — зуб, крепко сидевший в челюсти чудовища на установленном месте. Оставалась одна надежда, что чудовище начнет пожирать самого себя... Но когда это будет? Мир мне казался огромным кладбищем, куда живые пришли для окончательной расправы. Они стояли в очереди с пяти часов утра, хотя мы начинали работать в десять. Стояли, чтоб услышать от Краснобрюхова:

— Всё, гражданин. Где я вам возьму жилплощадь?

И они уходили, поднимались из нашего полуподвала в мрак и слякоть ночи: — Граждане и гражданочки, не смейте

унывать и жаловаться, пишите заявления, принесите справки из любого учреждения, там их вам выдадут, что вы счастливо прожили многие годы, иначе...

Кажется я один думал еще, пытался что-то обобщать. Другие не смели. Вот она — жизнь! В полуподвале райжилотдела происходил финал мировой трагедии, бушевали неистовые страсти, в дыму и копоти мелькали пленительные глаза Розалии, она улыбалась, и для этого стоило жить.

Мне хотелось кому-то отомстить, но у меня не было никаких шансов. И я смиренно просил прощения у человечества за то, что не могу его спасти.

«Вкушая, вкусил мало сладости, и се аз умираю...»

Но воскресенье — день не рабочий, так что я не воскресну. Все учреждения закрыты, я даже не знаю, кто мне выдаст патент на бессмертие. Я утешался тем потом, что понедельник — тяжелый день, в такой день, спасти людей не стоит, они, пожалуй, и сами не рискнут спастись в тяжелый день, а другие дни тоже казались неподходящими...

Я медленно брел по улице, по традиции глядел в освещенные окна, за тюлевыми занавесями двигались тени, тщательно укрывая от чужого глаза свой сор и беду, как великую тайну, а я шел домой, где на меня, как обвал, осыпались все мои беды, — Евлалия швыряла в меня взгляды, начиненные ненавистью, и мне даже не от кого было скрывать свои тайны: я был один в целом мире, один в этом многомиллионном городе, я шел по ступенькам вверх и вниз, требовал справок, писал бумажки, ел три раза в день, а пища была настоящая, свежая, — Евлалия кормила меня на убой, соусы были с острыми приправами...

— Не гляди же в зеркало, старый колпак! Там плещется море безнадежности. Там свирепствует шторм отчаяния, там гибнут твои океанские корабли, груженные золотым руном, которое ты же отыскал. Загляни в свои воспоминания, наклонись над тихим озером, где, как белые лебеди, плывут твои юные дни...

Вот как я жил — даже белые лебеди...

Жизнь!

Ничего не скажешь: если взглянуть на нее глазом знатока, в ней огыщутся изумительные частности. Но кому охота?

Я прихожу к таким неожиданным выводам, что нахожусь непрерывно в состоянии трепетного удивления, как дети, впервые узнавшие ужас и восторг бытия.

И понимаю, почему это: мы слишком долго играли. И всё проиграли — веру, идею, восторги, радость, надежды.

Так, что ли?

Только Розалия, затаскив меня как-то к себе, заставила еще раз с чудовищной силой испытать острые ощущения прыжка в бездну. Потом она говорила мне тихо и певуче:

— Старичок, ты, оказывается, еще годен на многое. Только надо суметь зажечь газ. Не правда ли? Но для этого нужно иметь спичку... Теперь я поняла, что ты в самом деле философ.

— А кто же ты? В тебе есть что-то нечеловеческое, Розита.

— Конечно, дурачок. Видишь, ли, мы, женщины, ценим мужчин главным образом по тому, как они проявляют себя в постели и сколько они нам приносят денег. Но многие из нас забывают, что и мы должны себя так держать, чтобы мужчина мог себя проявить. Ну, в общем, нужна спичка. А у меня их, видимо, целый коробок, как говорит мой ученый муж Моська.

— Может быть... Но если есть внутренняя гармония, то в ней всегда хаос, — сказал я печально.

— У меня есть. На житейской ярмарке я делаю крупные оптовые обороты с активным сальдо. И без всякого обмана. Спроси кого угодно, даже моего Моську, который только облизывается.

— Ты чудо, Розита.

— Возможно. Я и сама думаю, что толково сделана. Жаль, что в свое время не успела спросить папу и маму, как это у них получилось.

Когда мы вышли в столовую, полные еще усталости

и блаженства, Загс сидел за столом и уныло читал рукопись. Он испуганно посмотрел на меня, потом ласково сказал Розалии:

— Мамочка, у тебя опять была эта страшная боль под ложечкой? Ты так кричала, что твои крики я слышал на лестнице.

Розалия сказала печально и задумчиво:

— Да, я боюсь, что они сведут меня в могилу. Иван Иванович бегал в аптеку за валидоном. Если бы не он, уж не знаю, что со мной было бы.

Загс смотрел на жену виновато и просительно. Потом она мне шепнула:

— Ему не то обидно, что я кричу в обществе других, а то, что с ним, когда он получает свой паек, я нема как могила.

На другой день Загс мне говорил, потирая свои желтые потные руки:

— Зарезал сегодня романчик. Произведение гениальное! Не уступит графу Толстому. Никак не думал, что у нас еще водятся гении после двадцатилетней очистительной работы. Ну и чудак мировой! Забыл, где живет. Вместо того, чтобы писать инсценированный доклад о посевной кампании, размахнулся на «Войну и мир». Видали такого осла?

Я не выдержал и спросил:

— Загс, у вас болят зубы?

— Нет...

— А то я мог бы сбежать в аптеку за каплями.

Розалия шумно вздохнула. Грудь ее поднялась.

— Я думаю, — сказала она, — он сам сходит. Да, пожалуйста, Моська, сходи. И раньше чем через три часа не возвращайся.

Загс стоял еще на пороге, когда Розалия начала расстегивать платье.

С чего-то я начал вести воображаемые разговоры с разными лицами, особенно с Апостоловым. Может быть потому, что в действительности мне с ним говорить не при-

дется. Но поймите, мне же необходимо с ним сразиться, хотя бы для истории. Ведь ясно, что, в конце концов, командовать парадом буду я.

— Так вот, Илья Варсонофьевич, вы утверждаете, что владыкой мира будет труд?

— А кто же еще?

— А нельзя ли вовсе без владыки?

— То есть как это? Анархия вам нужна?

— Ничего подобного. Вы просто не можете себе представить мир свободным. Обязательно кто-то должен властвовать.

— А как же иначе?

— Подумайте о будущем. Через сто лет уже всё будут делать машины. Не только работать, но и управлять, контролировать, решать, судить, переводить, — всё, что угодно. Людям останется только одно — воображать и размножаться. Но назвать это трудом никак нельзя. А когда людям делать нечего, да еще отсутствует забота о завтрашнем дне, — это может повести к всемирному озорству.

— Вы пытаетесь оклеветать коммунизм по рецепту ре-визионистов.

— Нет, я не клеветчу. Это просто то, что будет. Кстати, тогда ведь и партий никаких не будет. Интересно, Илья Варсонофьевич, как же коммунисты тогда будут осуществлять свою авангардную роль?

— Авангардную роль всегда можно осуществлять, если ты способен. Притом — самокритика. Не все будут на высоте.

— Тоже пустые слова. Самокритика — это выдумка для дураков. Никто себя не может критиковать. А, главное, — не хочет. Такого чудака на свете еще не было и не будет.

Ричард Амчславский получил отставку. Розалия больше не хочет с ним... Он сказал мне на прощанье:

— Все проходит — иногда медленно, иногда быстро. Но я не имею пагубной привычки думать. И вам совету отучиться.

Розалия мне сказала:

— Базар. Ходовая торговля. Пока есть деньги — всё продается. Я горжусь, что моя любовь ценится на вес золота. Так давай поживем, Ванюша, пока еще из золота не делают унитазы.

Я гляжу на нее и снова теряю спокойствие. А к чему, спрашивается? Мне же не совладать даже с одной пинтой такого обжигающего напитка. Припадешь к горлышку, глаза закроешь (почему-то слышнее становится), как уже где-то поблизости смерть бродит, шуршат под ее ногами осенние листья. Вдруг цапнет — и всё... Конечно, ничего особенного. Но самое страшное в том, что уж докатился до ежедневных размышлений о конце. Нельзя человеку долго жить. Надо умереть до того, как начнешь каждую ночь думать о смерти.

Вчера перечитывал свои записки.

Мне казалось, что там всё неправдоподобно. И даже я сам.

Но я могу только повторить слова Виктора Гюго: мы не претендуем на то, что наш портрет правдоподобен, скажем только одно — он правдив.

Если уж говорить об успехе, то самым преуспевающим человеком был Ричард Амчеславский. Он был высок, красив, неотразим. Он имел успех. У женщин. В искусстве. И вообще в жизни. Даже Розалия его хвалила. Он недавно получил орден Ленина. Уж я-то никогда не получу.

Идет избирательная кампания. Я тоже хожу по квартирам. Ну и живут же люди! Это превосходит всякую фантазию. Впрочем, чёрт с ними. Ты этого сам хотел, Жорж Данден.

Что же будет дальше?

Розалия убивает меня с жестоким великолепием Нерона. Вот это настоящий гуманизм!

Какая идиотская канитель — морить усталое сердце горькими каплями провинциального аптекаря. Но какое надо иметь щедрое сердце, чтобы сделать умирание уставшего феерическим праздником. Ритм, данный жизни Ро-

залией, вызывает смертельную аритмию. Вот это — стиль! Пусть они не думают, что синемухи не умеют умирать.

Если Розалия порочна, то отныне я провозглашаю порок венцом всех добродетелей...

Читал свои записки Останкину. Он сказал:

— Ты знаешь, друг, что-то пахнет подпольем Федора Михайловича.

— Но ведь не мы с тобой загнали жизнь в подполье. Разве ты обнаружил у меня хоть один звук неправды?

Останкин промолчал.

— Впрочем, — прибавил я не без ехидства, — вероятно и мы содействовали.

— Чем? — испугался Останкин.

— Терпением. Ты помнишь слова Горького? Я их заучил наизусть. Вот они: — Терпение — это добродетель скота, дерева, камня. Ничто не уродует человека так страшно, как терпение, покорность силе внешних условий. И если, в конце концов, я всё-таки лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен... Вот так сказал Горький. Как будто и про меня сказал.

— Ты всё выдумываешь, Иван. и себя и других выдумываешь... В жизни все проще.

— Уж чего проще, — вскрикнул я. — Просто до тошноты, до отвращения. Но вспомни — ведь всё прекрасное на свете выдуманно: рай, Прометей, Джульетта. И знаешь, порой я сам удивляюсь, что действительно существует, а нижем не придуман, Иван Синемухов. Может быть, я и заслуживаю нимб. И еще, — может быть, ты поверишь все-таки, что я один остался на земле, вот такой...

И, знаете, — я забыл сказать, что сейчас глубокая осень, земля похожа на старуху с желтым сморщенным лицом, в бурых лохмотьях, из-под которых торчат чуть ли не оголенные ребра, а из глаз текут крупные желтые слёзы. Ведь это ужасно, что красавица становится такой непристойно

уродливой. Как это допускает природа, знающая толк в красоте?

Как она допускает, что даже я сам, спаситель, должен разбить себе голову об стену? Ведь никто не хочет слушать... Кругом четыре стены...

Душа человека создана из неточных конструкций, из неустойчивых элементов, поэтому в жизни человечества возникают мгновенья совершенства, вводящие в заблуждение историков. Разве может утешить Леонардо да Винчи оскорбленного Человека? Оскорбленного Человека, который вынужден прожить столетия в обществе горилл и павианов. Идеи — молнии, революции — грозы, но разве может даже самая сильная гроза повлиять на движение Земли? Трагические толпы, словно клубы пыли, мечутся по миру, их безостановочно гонит ураган, и в этот хаос глупые пигмеи пытаются внести гармонию, геометрические формулы, бесконечные перспективы. Жалкие глупцы не слышали предостережения мудреца:

— Геометрия обманывает, только ураган правдив.

Но почему меня на краю гибели охватывает такое веселое отчаяние?

Говорят, что Наполеон также был весел в роковой день Ватерлоо. Я никогда не был уверен в окружающих меня обстоятельствах и людях. Если утро их слало мне как надежных союзников, то уже полдень проявлял их как сообщников, которые себе на уме, а в темноте они подкрадывались как тать в ночи, грозя предательским ударом. Всю жизнь я ощущал чей-то нож вблизи, от которого у меня холодела спина. Горе мое еще и в том, что я никогда не утешался переменой мест радужных и злосчастных предзнаменований — ведь результат всегда один. И так будет продолжаться до той поры, пока человечество не осмелится бросить вызов своей судьбе, выбранной им добровольно. Если мир — ужасный кабак, если вы, владыки, захватили власть в этом кабаке, то вы обязаны помнить хотя бы об обязанностях кабатчиков, изложенных с французским изяществом всеми признанным мэтром:

«Обязанность кабатчика — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блок, улыбки».

Оказывается не так-то просто. Наши кабатчики явно не справляются. Но что же делать, если я родился не карриатидой, поддерживающей чужие скрижали, а горным потоком, низвергающим всю мировую плесень?..

Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, одиноким, едва заметным, сверкающим, но окруженным несметными угрозами — чудовищами, обступившими его: звезда в пасти туч.

Когда же она взойдет — звезда пленительного счастья!

Я вызываю ночь на очную ставку.

Я бросаю вызов безмолвию народа.

Я начинаю разговор межконтинентальными ракетами.

Не забудьте, что слово, закованное в цепи, самое сильное и действенное. Когда-нибудь люди сорвут цепи с моих страшных слов и будут ими причащаться, как христиане кровью Спасителя.

Из моего притворного молчания, как из невидного родника, вытекают огромные потоки — лава. Она застынет над миром, как бронза, и на ней вырастет мой памятник, нерукотворный.

Если мертвы все идеи, надо покончить с миром и начать сызнова.

Розалия мне сказала:

— Старый мальчишка, мальчишеский старичок, если есть Бог на свете, то Ему перед тобой стыдно. Так пей же вино, дыши Монбланом, целуй мои губы.

Большие города даже в тихие прохладные ночи сохраняют пыльное удушье, отзвуки машинного скрежета, и за это я их не люблю даже в лучшие минуты жизни. Надо жить в тихих местах, на берегах морей, в лесистых горах, которые в часы тишины и покоя пахнут росой, ландышами, солёной влагой прибоа.

К сожалению, я живу в большом городе. Я всё понял.

Но что из этого следует? Розалия мне сказала, что меня могут объявить сумасшедшим. У нас в России на этот счет имеется солидная традиция.

Но я уже ничего не боялся. Я слишком много потерял. После таких потерь жизнь потерять — уже не страшно. Это всё равно, что потерять кулек, в котором остались только крошки.

Но даже кулек мне дорог.

Я чувствую себя чем-то вроде Бога.

Я вездесущ — всё вижу, всё знаю. Разумеется, как Бог я не должен испытывать никаких чувств, но здесь мое уязвимое место — мне явно нехватает божественного равнодушия.

Розалия мне сказала, что она нередко забывает, с кем она рядом:

— Твои мысли меня возбуждают так, что я озорничаю как богиня. А ты?

Не мог же я признаться, что с Евлалией уже несколько лет не чувствую себя мужчиной, и даже предполагал, что мои силы исчерпаны, а одно воспоминание о Розите, заставляет меня по ночам метаться в постели. Должно быть, всё-таки есть любовь.

— Розита, я ничего не думаю. Я тебя не породил и я тебя не убью. Конечно, я бы из романа твоей жизни с удовольствием вычеркнул Моську Загса. Но чёрт побери! Вероятно не существует чистых романов, как не существует чистых атомных бомб.

Она немного подумала, потом постаралась меня утешить:

— Только время судит беспристрастно.. И почти всех и всё оправдывает. Потом... А пока — Боже, как оно издевается и мстит доверчивым дуракам.

— Дорогая моя, — воскликнул я, подняв руки, — ты даже будущему не доверяешь!

Она посмотрела на меня высокомерно:

— И ты еще спрашиваешь? Ты? Неужели ты не можешь предсказать будущность вольчего выводка? Конечно, иные

философы дошли до такого идиотизма, что надеются посадить волков на вегетарианскую диету. Но для идиотов закон не писан. Пока мы забавляемся только тысячи лет, а миллионы лет тянули лямку. И забавлялись тоже только тысячи, а миллиарды по-прежнему тянут лямку. А когда начнут забавляться миллионы... Не исключено, что шарик вылетит со своей орбиты, и кончится эта история, порядком надоевшая всем, которые вынуждены ее делать за небольшое вознаграждение, да к тому же еще в обесцененной валюте.

Не все ли равно, сколько людей страдает — один или много! Один человек может испытать все муки, существующие на свете.

ГРЕХЭМ ГРИН

Этот человек — я.

Между мною и другими та разница, что я не могу жить применительно к подлости. Для меня наступает эпоха без эпохи, по выражению Гёте, — то есть пустыня на краю ночи.

Я никому не завидую. Еще в начале прошлого века было сказано: да и что только в том, что я стану, скажем, делать хорошее железо, а на душе у меня будет лишь одна гарь. Горе всякому прогрессу, имеющему в виду только конечный результат, и нисколько не озабоченному тем, чтобы осчастливить нас на пути к его осуществлению.

— Куда мы идем? — спросил я Розиту.

— К одному из концов.

Я не понял. Она пояснила:

— И после этого конца будет новое начало, и дураки опять будут ноги бить.

— Какой же смысл? — спросил я.

— Смысл в пути. То, что стащишь по дороге — твое, Цель — такая же чепуха, как Бог.

Затем ядовито усмехнулся:

— Розита, разве ты не знаешь, что это библия лжесоциалистов: цель — ничто, движение — всё.

Она смерила его тщедушную фигурку презрительно насмешливым взглядом:

— Еще неизвестно, кто лжесоциалист... Впрочем, все социалисты лже... Потому что все социализмы на деле оказались бредом сивой кобылы. И не обижайся на меня, но разница между меньшевиками и большевиками только в том, что одни меньше, и другие больше насолили миру.

Только все люди, вместе взятые, составляют человечество, и только все силы, вместе взятые и совместно действующие, составляют мир.

ГЕТЕ

Замечательное определение коммунизма.

Но есть ли на свете два человека, вместе взятые?

И есть ли на свете две силы, совместно действующие?

Я полюбил Розиту — мы были часто двумя силами огромного потенциала, но она уже остывает — мы начинаем отталкиваться, как встретившиеся метеоры: удар — осколки — пыль...

Нет человечества. Нет мира, нет меня.

— Что ты хочешь? — говорит Розита. — Ты хочешь, чтобы я одна построила для тебя новый мир. Ты слишком меня переоцениваешь. Вот он перед тобой — новый мир — но бьюсь об заклад, в нем происходит всё то же, что и в старом, который мы оставили позади. Если ты не умеешь сводничать, ты никому не нужен... Да, никому, вечный Иван!

— Если б хоть одной тебе, — простонал я.

— Не глупи. А я кто? Я ведь не Евлалия, я знаю, что ты гений и тебе нужны вечные ценности. А я скоропроходящая. Как только оболочка моей души потеряет свою соблазнительную упругость — моя роль окончена. Так что мне надо торопиться. Я не создала философии мира, как ты.

Только сладкие воспоминания могут меня утешить.

Я всё чаще впадаю в странное состояние, когда, с одной стороны, ощущаю безмерное счастье бога, а с другой — безмерную муку червяка, на которого наступил чей-то сапог.

Ежедневно всё та же погода: переменная облачность без существенных осадков.

И как это я ухитрился, проведя всю жизнь в этом умеренном климате, постоянно лихорадить, ощущать тропический зной, плыть в штормовых океанах, где душу мою трепали самумы, сирокко, тайфуны и трамонтаны?

Но вот вопрос:

— Если я на земле не обнаружил ни одной тропинки, на которой завалился бы хоть осколок разбитого счастья, почему же мне так хочется жить?..

РЕКВИЕМ

Надо разобраться.

Синяя муха погибла во цвете дней.

Ее предсмертный час мне многое раскрыл, пожалуй, больше, чем вся предыдущая история человечества.

Дело обстоит так:

Люди как мухи — и по количеству и по качеству.

Их слишком много, они одноцветны — ведь их окрашивают одни и те же желания, настолько ярко выраженные, что оттенки прихотей и капризов ложатся лишь легкими тенями, слегка омрачающими фон. Душевный спектр так же вечен и неизменен, как солнечный. И главное в нем — невидимые части — ультра и инфра.

Человековеды туда заглядывали редко и неохотно.

В древности ограничивались только видимыми лучами. Потом было несколько душепроходцев. Самый смелый и дерзкий из них — Достоевский, Колумб душевного мира.

Сейчас пытаются закрыть все проходы. Душа — не канцелярия. По штату она не положена. Все ее работники уволены. В том числе и я.

Надеюсь, что синяя муха научит вас, как надо жить.

Красное и черное

Диалектика — учение о предметах истинных и ложных, не являющихся ни теми, ни другими.

ЗЕНОН из Стои

Внезапная гибель профессора французской литературы Корнелия Абрикосова и сопутствующие ей обстоятельства поначалу вызвали много сенсационных толков, подобно камню, брошенному в тихие волны, но как всегда, круги сужались на невозмутимой глади и разглаживалось чело океана времени для новых забот и морщин.

Было много других профессоров, дел, страстей, забот и нужд, люди спешили трудиться, любить, драться и гибнуть по разным причинам — сложным, простым, обыкновенным, трагическим. Новый век еще не завязал тугих узлов на местах извечных разрывов, мечтаний и надежд, хотя и привел в движение заглушенные моторы сердец.

Историки, поэты и обыватели всегда с похвальным рвением старались выяснить причины гибели действительных и вымышленных героев, приводили тысячи всевозможных, подчас остроумных вариантов, но до сих пор не подозревают, что все их замысловатые хитроумные схемы так же далеки от истины, как роза, вышитая на канве, от штамбовой, выращенной в розарии. Но разве можно разуверить людей, которым выдуманные ими версии кажутся откровением Иоанна?

В сущности предстояло решить уравнение, все данные которого в силу законов математической логики должны были дать обратные результаты. Но ни признать свое бессилие, ни тем более отвергнуть законы логики люди не осмеливались и поэтому решили, профессор Корнелий Абрикосов, сорока двух лет от роду, обладатель приятной внешности, очаровательной жены, докторской степени, сем-

надцати солидных научных работ, среди которых особенно выделялась монография о Стендале, — стал жертвой роковой случайности.

Так ли это?

Ни авторитетно утверждать, ни категорически отрицать я ничего не собираюсь. Но поскольку покойный профессор называл меня своим наперсником — может-быть иронически — я хочу рассказать о некоторых чертах его характера — раздумьях, событиях и догадках.

Несмотря на то, что Корнелий Абрикосов был почти ровесником стремительного и бурного века, не зависящие от него условия и обстоятельства сузили до обидно малых размеров его перспективы. Потенциальные возможности времени и пространства он использовал, как бедная невеста объемистую укладку для приданого, в которой томилось, желтея в одиночестве, подвенечное платье и зияла душная горбатая пустота. Так же увядали в чемодане, с которым он отправился в далекий путь, мечтания о жюльверновских пространствах и приключениях стендалевского Жюльена, прижавшись к самому доньшку. И томило душу время, кое-как заполненное обрывками повседневного существования.

Из сырой руды этих несбывшихся мечтаний, не обогащенных жизнью, в конверторе его души спекались причудливые сплавы при высочайших температурах и неистощимой энергии его фантазии. Накаливаясь, они деформировали его, незаметно для других, а отчасти и для него самого, в какого-то странного незнакомца в до боли знакомом мире. И если окружающие считали его рядовым профессором, пусть даже незаурядным — что от этого меняется? — он сам по совести считал себя чем-то вроде уравнения со многими неизвестными, из которого могло получиться все, что угодно: бесконечная величина, минус единица, и кто его знает — может быть и сапоги всмятку.

В связи с этими пертурбациями он в конце концов потерял верное представление и о своем возрасте, — и в течение всей своей сознательной жизни в период зрелости

чувствовал себя претендентом на счастье, а порой сильно задержавшимся кандидатом в преисподнюю. От невозможности разлуки и вынужденного постоянства родина из женственно любимой стала постепенно превращаться в слишком примелькавшееся в бесполо-среднее штатное отечество, как жена, к которой остыла страсть и обличье начинает раздражать своей привычной устаревшей прелестью. Ну, посудите сами — сорок лет непоколебимой верности, лицом к лицу, — не то что измена, но даже ни одного маленького флирта с Венецией или Флоренцией, ни одной холостой пирушки с Парижем, ни одной катастрофической прогулки с Тихим океаном — да ведь от одной жажды этих законных удовольствий небо может показаться с овчинку, даже самое родное.

Как-то записал он в дневнике:

Мне бы колесить вокруг света белого, действовать, озоровать, переделывать мир, выколачивать глупость из голов, но люди, зная, что я на это способен и боясь, как бы чего не вышло, не дают мне ходу — и вот я путешествую вокруг себя, скрытый от солнца огромной собственной тенью.

Такая жизнь казалась ему классически бездарной, как пьеса с соблюдением трех единств, — помилуйте, он с детства в играх швырялся временем и пространством, как мячиком, подобно Шекспиру, в одном акте пересекавшему несколько раз океан и менявшему страны и континенты — как светская красавица перчатки.

Порой улетучивались все его убеждения и самое миро-созерцание — они казались ему ненадежным компасом, который никуда его не приведет.

Но все это было невидимое круговращение, о котором никто не догадывался, — ни друзья, ни враги. Он рано научился надежно огораживать свою душу от тех и других. Знакомые и сослуживцы знали о нем не больше, чем все люди знают обычно друг о друге — анкетные данные и не-

многочисленные сплетни. А кто может, положи руку на сердце или на другое место — ну, скажем, на библию или партийный билет, — сказать наверняка, что он знает что-нибудь большее о своих близких, родных, детях?

Корнелий Абрикосов свою жажду знаний о человеческой душе, как другие ему подобные, удовлетворял гипотезами гениев о вымышленных людях, у которых, стало быть, не существовало никаких анкет. Авторов нельзя было привлечь за клевету, хотя порой и пытались, отдавали их на растерзание критиков, а после смерти воздвигали монументы, за то, что они больше не смущали своим величием и строптивостью покой малых сих.

Обладая опасным излишком мечтаний, он испытывал острую нужду в надеждах, которых так сильно недоставало его мечтам, как романтическим юношам возлюбленных эфирных созданий.

Мог ли он упрекать в этом заведенный порядок вещей в подлунном мире?

К сожалению, продолжали рождаться в избыточном количестве ущербные экземпляры рода человеческого, и хотя признанные мастера пытались всеми мерами воздействовать на их природу, но лишь горестно убеждались в том, что техника усовершенствования природы еще находится в самой первоначальной стадии не очень обнадеживающих экспериментов.

В общем жил-был профессор французской литературы Корнелий Абрикосов, и так как он спокойствия не возмущал, не вызывал восторгов и брани, его не истязали критики, ему не рукоплескали клакеры без страха и упрека, и друзьям даже было обидно, правда, много лет спустя, — простите за этот репортаж из будущего, — что ему все-таки впоследствии поставили монумент. Как же так? — человека не терзали, не мотали, никто не помнил, чтобы он испытывал кратковременную нищету, как Бетховен или Рембрандт, — и вдруг на тебе — без всех этих предварительных процедур — монумент за здорово живешь!

А так называемых друзей у него было достаточно.

Недостаток человечности в них изредка возмещала изысканность пороков, а чаще всего умелое притворство. Интимных друзей он не заводил из предосторожности, рано убедившись, что дружба и предательство граничат очень тесно, и воздвигнул линию Зигфрида, справедливо опасаясь ее опустошения внезапным налетом друга и, как это принято ныне, без объявления войны.

Однако людей он не чуждался, и приятели его порой по-настоящему забавляли. Подобно Шекспиру, который возмущался Ричардом и Шейлоком как гражданами и любовался их игрой как драматург, он восхищался декоративной изощренностью их душевного вакуума. Он видел множество людей, которые этот вакуум выставляли напоказ почти оголенным или прикрытым несколькими газетными цитатами, матрицами из ходячих изданий или сладеньким коммунистическим враньем, по выражению Ленина.

Высшим искусством современности — мимикрией, он плохо владел. Несомненно уже создана невидимая академия приспособленческого мастерства, ибо человечество накопило в этом деле огромный опыт. Разумеется, сверлить, обтачивать, фрезеровать и прессовать души сложнее, чем машинные детали. Однако успели здесь, пожалуй, больше, чем в механике.

На свете было слишком много достойного ненависти, требовавшего неумеренной траты сердечных ресурсов. Но сердце он щадил для больших свершений, уверенный в своей высокой судьбе, и лишь презирал все то, что следовало ненавидеть.

Профессором Корнелий Абрикосов стал в общем не потому, что он к этому стремился. Тут дело было просто, как это всегда бывает.

Смолоду он испытывал мучительно завистливую острую сладость посвящения в тайное тайных колдовской поэтической речи, в которой слились и захватывающее степное раздолье необъятной Руси, и холодящая сердце стынь снежных вершин, и головокружительная крутизна бездны, в которую

низвергаются громокипящие потоки. И, плененный навек беспощадной красотой творения, скользил он по крутизне, то влекомый в пропасть, то вздымаемый ввысь непостижимой силой.

Он был испуган и очарован неумолимой жестокостью жизни, ее дьявольским бессмыслием, пугающей красотой и непреходящей женственно-лукавой молодостью, непрерывно возбуждавшей в нем высокие и низменные страсти. И жадно отдаваясь его бурным вожделениям, она тотчас же улетучивалась, становилась бесплотной и недосягаемой, лишь только он пытался прикоснуться к ней отточенным лезвием разума.

Постепенно меняясь и мужая, он принимал жизнь по-разному, благоговел, восторгался, трепетал от возмущения, поражался ее богатству, умопомрачительному безрассудству, наглому коварству и святой кротости. Наконец, сваленный встречными потоками душераздирающих дум, стал, подобно древней старухе, окаменевшей от бед, просто принимать ее к сведению, как ниспосланную свыше.

Стремясь понять самое главное в жизни, он пришел к выводу, что вся история человечества не только не необходима, но и ни для кого из живущих нежелательна.

Уже в школе все его убеждали, что у него несомненное литературное дарование, родители не возражали против его выбора, обстоятельства подталкивали, и все вместе сумбурно поспорили так, что у него трещало в голове от разных доводов за и против, первых бокалов вина и к стати пришедшей иллюзорной страсти, от которой он долго чувствовал ссадины и ожоги вместе с настоятельной потребностью их умножить. Женщина была значительно старше и опытнее его, и хотя он вскоре сообразил, что это вовсе не любовь и даже не страсть, а что-то до содрогания постыдное и сладостное, но пришел в полное замешательство. Он попросту не знал, как же теперь быть с настоящей любовью, возвышенной и чистой, как ее сочетать с этим жгучим и стыдным блаженством.

Корнелий Абрикосов не мог себе представить, что

возлюбленной может стать такая..., он даже не мог сказать какая об этой неожиданной подруге. И не будучи в состоянии создать единства из этих противоположностей, решил, что тут кроется какое-то катастрофическое недоразумение.

Не находя особого удовольствия и в спортивных развлечениях, Корнелий много времени отдавал книгам, стал одним из лучших студентов, и опять профессора, родители, обстоятельства и другие толкачи, пошумев и повздорив в его голове, вынесли решение, что быть ему служителем науки.

Что ему оставалось делать?

Должно быть — многое. Но ни он, ни я, ни вы этого не знаете. Иначе — кто-то, а я уж подсказал бы ему — думаете, с легким сердцем рассказываешь о том, как неплохой человек на твоих глазах начал скатываться в могилу? Конечно, найдется множество адвокатов, которые тебя оправдают. Но от этого мне не легче.

Разве нельзя было ему сказать...

Ну, хотя бы начать с того, что он мне сам признался в интимной задушевной беседе, как он никогда не любил и не хотел никого учить, так как не уверен, что кому-нибудь нужна все эта ахинея, которую называют литературоведением. Субъекты, ничего не смыслящие в жизни людей, близких одному автору, который их тоже не очень-то знает, начинают нахально им лезть в душу.

— Мне всегда казалось это отвратительным, как будто в моем доме устроили вертеп и заставляют мою жену и детей разносить пьяным пиво и сосиски.

Одним словом, ему стыдно было после каждой лекции и он совестился смотреть в глаза студентам.

Писать ему хотелось давно, но он сознательно избегал это опасное занятие, считая соперничество с Природой в творении человеческих душ трудом, который по плечу только титанам.

Кроме того, мир он познавал преимущественно не разумом, а больше воспринимал его звучание и окраску, множество оттенков и тонов, почти одинаково беспокойных, от

ослепительно яркого, шумного, как литавры, до тихого и темного, глухого и слепого.

Но как изобразить море, смеющееся от восторга перед самим собой или от любви и восхищения миллиардов людей? Или как поведать о душе своей, похожей на лабиринт с тысячами закоулков?

Совершенно независимо от Корнелия Абрикосова жила Римма Брянцева.

Хотя она лишена была изощренной фантазии и считала героические характеры досужим вымыслом сочинителей, Римма признавала себя незаурядным творением своих незадачливых родителей.

Оценивала она себя главным образом с точки зрения зеркала, полагая, что глаза как гелиотроповые озера, рыжий костер над ними, нос из иллюстраций к истории Эллады, грудь как у тридцати герлс, — уже сами по себе неопровержимые доказательства героического характера. Попробуй вырви у этой старой чертовки-судьбы такие трофеи.

Правда, по дурной традиции, еще не искорененной до конца, она, кроме больших и малых зеркал, изредка заглядывала также в зеркало своей души. Но там ее большей частью постигали сомнения. Во-первых, пугала и отталкивала неясность отображения. Вместо гармонических и чарующих форм, отраженных обычным зеркалом, в зеркале души смутно вырисовывалось нечто туманное и бесформенное.

Владения этого убогого мирка, который Римма и не стремилась расширить, — совесть, сердце были почти неразличимы даже для зоркого взгляда. Римма смутно догадывалась, что эмбриональное состояние ее душевного мира как раз и позволяли ей сохранять в чудесной неприкосновенности капитальные фонды, которые поставили ее в число избранных властителей, иногда милостиво наделяющих копеечным счастьем избранников из сонма жаждущих.

Конечно, ничего нельзя сказать о том, как и почему встретился с Риммой Корнелий Абрикосов и полюбил ее.

В первый вечер после этой встречи, ошеломленный, восторженный, счастливый и несчастный, он читал томик Стендаля в издании Шарпантье:

«...я всегда был занят какой-нибудь несчастной любовью. Я безумно любил мадемуазель Кюбен, мадемуазель де Грисгейм, мадам ди Форс, Матильду, и не обладал ими, а многие из этих увлечений длились по три или по четыре года... а Манти, в какую скорбь она меня повергла, бросив меня!»

«А я? — думал Абрикосов. — У меня даже счастливой любви не было. И прогулок по Риму, Флоренции и Милану я тоже не совершал. Не слыл ни безнравственным остроумцем, ни карбонарием... профессор кислых щей...»

Путешествие Корнелия Абрикосова по Руси, сопряженное с множеством трудностей, к которым он был плохо приспособлен, — впрочем, к чему он был хорошо приспособлен? — длилось не очень долго.

В его автобиографической книге, опубликованной посмертно, — «Время, краски, люди» — об этой поездке сохранились следующие записи. По-видимому, он хотел написать что-то очень для него важное, но не сумел этого выразить. В рукописи были перечеркнуты целые страницы и так тщательно, что ничего нельзя было разобрать.

Вот эти записи:

«Лога, разлужья, косогоры, чащи, разнолоскутные поля — яровые взметы, зелена, придорожные ветлы с грачиными гнездами, петлистые ручьи, ошетиленные айром, осокой и кугой, пятнистые стада и бродячие собаки с репьями в хвостах, стреноженные кони, странники в лохмотьях с нищенской кисой на ухабистых проселках, мазанки и срубы, крытые старновкой, подрукавный хлеб, холодные звезды и жаркие мечты — тысячелетняя дева, все еще ждущая суженого, бессловесная и покорная — чьей воле? — Русь, страна моя, судьба моя.

Светлый сумрак брезжит до зари.

Выворотни и колодые в неверном свете месяца казались сохатыми, пробирающимися на водопой.

Брожу по лесу, как по миру. Прошу подаяния у деревьев, но они так же черны и глухи, как люди.

Прошу подаяния у месяца, но он так же красен и жесток, как люди, которые сердятся на пристающих.

Черное и красное — между ними сквозь строй гонит меня судьба.

Замирает соловьиная серенада и только самые неистовые перекликаются с замирающим эхом.

На белом атласе берез розовеют последние блики догорающего костра. Все ниже и ниже опускается пламя. Вот оно уже стелется по голубовато-серому пеплу. А не поднявшееся солнце уже одевает в золото и парчу проснувшийся лес. Медленно опускается с его плеч черная плащаница ночи.

Крохотное полюшко, окруженное подковой мелятника, напоминает эстраду, и на ней несравненный музыкант дрозд в черном фраке с золотой миниатюрной флейтой в устах начинает песенную зорю.

Хорошо еще, если ты не устал считать дни и легкокрылые надежды просыпаются вместе с зорянками. Но если счет многозначен, а журчание горлинок и надежд заглушает печальное кукование воспоминаний, держи крепко в руках свое сердце, чтобы оно не пало вместе с плащаницей ночи.

Проходит лето.

И все гонит меня сквозь строй гурьба безнадежных мечтаний.

Листобойная навалница треплет и крушит загоревшиеся карминным румянцем зябкие и трепетные кроны осинника.

Словно красногрудые чечетки, кружатся листья вокруг осиротевших ветвей. Высветляются лесные просеки. Вокруг так много белезны от вылинявшего осеннего солнца, гофрированных смушковых облаков, гирлянд паутины и пухового репья, напоминающего, что вскоре пролетят белые мухи первозимнего снеговья.

Степенно выплывают во фраках с ярко-белыми пластронами грудок гоголи, кружат по стылой, потерявшей блеск

глади пруда, поеживаются от сиверка, что рябит мелкими кудерьками воду, а за ними крохали, расфуфыренные словно купчихи ченпи на предвечернем променаде на соборной площади.

Осенняя пора, очей очарованье...

Багряных листьев томный легкий шепот.

Октябрьская вешняя крепь пунцовых неувядаемых амантов.

На крохотной рабатке под окном багровели и синели лобелии, окруженные рощицей золотых шаров.

Под рдеющей рябиной вновь расцветают над резной хвоей вереска лиловые султаны и таинственно глядит под елочками бледно-розовая андромеда. Как бронзовые опахала, покачиваются вайи папоротника, а под ними шумит, шуршит, шелестит целый мир козьявок.

Блекнет суходольная отава, еще изумрудная на кочкарниках и крапчатых брусничниках.

Загорелые оливковые боровички с шоколадными беретами набекрень играют в прятки, таятся в ворохах палого листа.

Чудесный мир, в котором нет никого, кто был бы мне близок — разве козьявки.

Из-под красных бровей косо глядит на меня крупный черныш. Тут я вижу первого человека. Охотник наводит мушку.

Так всегда: в торжественную симфонию жизни человек вносит трубный глас смерти.

Выстрел. Черныш падает на землю. Кровь. Смерть.

Булькает, пузырится муть в колеях, скоро зазимок растелит свои белые холсты, пуховики, проложит полозницы.

Поет разлуку самый ранний отлётчик — кроншнеп. Но не очень грустно.

Покрикивает бегун-дергач, забывши, что у него есть крылья.

Миновал летопроводец и повсюду табуняются и митингуют на зеленых сборах, стовариваются птицы о совместных

полетах на южные курорты. Многие вернутся только к апрельскому зимоборцу.

Отвратительные человеческие создания делают все от них зависящее, чтобы отнять у птиц их изумительную жизнь. Что это — зависть, подлость?

Шепчутся осиротевшие подлеси. Грустно кивают головками палевые бересклеты и в такт им бесшумно покачиваются их агатовые сережки в золотой оправе.

Пью до дна бокал, доверху наполненный тоской, как горький вересковый мед. Цветет без времени, как душа моя, многоцветный безвременник, красноцветный красносор.

Глубоко дышу, задыхаюсь от аромата можжевельника, самого печального на свете».

Должно быть, во время этого путешествия и произошло знаменательное знакомство с Риммой Брянцевой.

Записи на этот раз были выдержаны в совсем другой тональности.

Судите сами:

«Хотел написать о Римме... Пытался словами, даже красками.

Но ничего не выходит.

В это время мне довелось услышать рондо-каприччиозо Сен-Санса и мне все казалось, что это рассказ о Римме... Потом я вместе с Вебером приглашал ее к танцу, но она не внимала моему голосу, по-видимому слышала чье-то неведомое приглашение. Я это понял из берлиозовского Осуждения Фауста — должно быть, трагедии рождаются из духа музыки».

Теперь ему предстояло решить множество проблем и в первую очередь — главную:

Несчастливая любовь или счастливая?

Решить эту проблему, которая наверно терзала бы его до бесконечности, взялась Римма. Она ненавидела всякую медлительность, за исключением медленного фокстрота.

Для нее все это даже не было алгебраическим уравне-

нием, а пустячной арифметической задачкой. Сначала — сложение: профессор, квартира, заработная плата вместе с гонораром — до ста тысяч в год, импозантная наружность, стопроцентная влюбленность...

Потом вычитание: разница в годах — двадцать, разница в серьезности, пожалуй, больше, чем на двадцать лет.

Она вздохнула, плененная своей непосредственностью, надела колечко с бирюзой, — умножением и делением она не занималась. Это утомительно. В результате получалась внушительная сумма.

Несмотря ни на что, Корнелий Абрикосов был безумно счастлив.

Его душа была наполнена непомерной, непоколебимой и опаляющей гордостью за свое существование и почти мистическим преклонением перед своим разумом, — чем же еще он мог покорить такую красавицу, — он даже не замечал, как потускнел этот разум. Впрочем, Римма была довольна: то, что он глупел в ее присутствии, было лишним доказательством его влюбленности.

Хотя Корнелий Абрикосов знал, что ему всегда очень не хватало скрупулезной точности настоящего ученого, это его не смущало. В гуманитарных науках точность вообще понятие относительное. У каждого своя точка зрения. Ведь все можно отнести в разряд черного или красного. Если зажмуришь глаза не очень сильно — все черно, а зажмуришь крепко — красное затмевает черное.

А в это время Корнелий Абрикосов жил с крепко зажмуренными глазами.

Началось это после того, как однажды ночью он нечаянно посмотрел на Римму взором, еще затуманенным от неостывшего экстаза, в одно из тех мгновений, когда даже страшно дальше жить, чтобы не лишиться этого нечеловеческого очарования, более драгоценного, чем вся последующая жизнь.

И вот он увидел смеющиеся, сытые рысьи глаза. Но счел это просто недосмотром. Однако больше в такие минуты не раскрывал глаз. Чтобы прогнать тревогу, говорил нежные слова, импровизировал. И ему казалось, что она очарована его ласками и словами.

Но Римма в это время уже спала. Она засыпала мгновенно, дышала беззвучно, как ребенок, порой только причмокивала спросонья — и это было так необыкновенно, как Лунная соната.

Они жили, как ему казалось, слитно, во всяком случае их близость он считал беспредельной.

Но что такое близость людей?

Две параллельные линии, идущие на расстоянии микрона одна от другой, но не сливаются, не перекрещиваются, только предположительно могут встретиться в бесконечном отдалении.

Однако Корнелий Абрикосов ни разу не подумал об этом, — вот что значит пренебрегать математической логикой.

Двигаясь неуклонно по своей параллели, без встречных барьеров и фланговых ударов, Римма все же опасалась, что муж ее, склонный к профессорской резеньяции, может, если позволит ему время, вновь вернуться к исходной проблеме, которую она в свое время сняла своею властной рукой, но не разрешила.

Вдруг он серьезно встревожится — какая же все-таки любовь?

Начнет копать... И, главное, — ведь не поверит, что счастливая. Будет думать, думать. Отсюда — задача: не давать ему времени для размышлений.

Эта дальновидная стратегия удалась Римме великолепно. У супругов были общие склонности. Они оба любили рестораны, а не чай с домашними пирогами, танцы в шумной толчее, под зайскивающее урчание джаза, словно пинчеры выражали восхищение благодушием и щедростью своих хозяев.

Чудесно! Не надо было говорить, что-то выяснять, ломать голову — это даже некорректно — думать что-то самостоятельно, когда любимая женщина предлагает тебе взамен свои несомненные прелести, в тысячу раз более ценные, чем всё, придуманное гениальными мыслителями.

Как замечательно, что не сходятся параллельные линии! Даже трудно понять чужаков, которые ни с того, ни с сего начинают свои линии сталкивать, пересекать, запутывать в клубки, затягивать в узлы, закручивать в спирали...

— Ты знаешь, дорогая, мне так хорошо с тобой, что даже страшно.

— Совсем не страшно... только не надо думать, и слов не надо — от них все страхи... Глупыш, может поцелуй вызвать страх или сомнение?

И, не давая ему ответить, протягивает губы.

Голгофа — вовсе уж не такая дорогая расплата за это — только надо испытать самому.

«Чем же я был?»

Я не мог бы этого сказать... Какому другу сказал я хоть слово о своих любовных печалях?

Особенно удивительно, говорил я себе сегодня утром, — и печально то, что мои победы не доставили мне удовольствия, равного хотя бы половине глубокого несчастья, которое причинили мне поражения.

Поразительная победа над Манти не доставила мне удовольствия, равного сотой доле страдания, которое Манти причинила мне, бросив меня ради де Бопье...

И тогда, не зная, что сказать, я, сам не замечая этого, стал снова любоваться прекрасным зрелищем развалин Рима и его современного величия.

Был ли я умен?

На мне были панталоны из белого английского... Я написал на полях внутри: шестнадцатого октября мне стукнет пятьдесят лет».

Прочтя эти строки, профессор Абрикосов подумал

с плохо скрытым удовольствием, что он на несколько лет моложе. Однако, он не знает ровным счетом ничего, — если он испытал неподдельное счастье путешествовать, каждый день безумствует, неистов, как мавр, почему же он не может написать этих опьяняющих строк?

И в первый раз подумал, что дело не только в таланте. Да и написано это небрежно. Никаких особых метафор. Показалось, что он, Корнелий Абрикосов, и победы не одержал, — а что же?

Болтается в авоське.

По какому-то странному совпадению Римма в тот же вечер, когда он обнял ее, протяжно зевнула... Он осторожно снял руку с ее прохладного плеча.

Как всегда, она быстро уснула. Корнелий Абрикосов всю ночь чувствовал, что рядом — будто смотрел он из окна вагона — блестит параллельная колея, по которой неслышно бегут освещенные ромбы окон.

Значит он и есть — тень ромба?

Лекции он читал исправно, вернее — неисправимо.

Порой ему бывало стыдно, но все реже. А другие лучше? Он по крайней мере утешал себя тем, что ведь не для этих лекций живет, а для Риммы. И для нее можно бы совершать подвиги и покружнее, чем чтение никому ненужных лекций за шесть тысяч рублей в месяц.

Если разобьется по совести, то за что его особенно и любить ей?

То, что она никогда и не помышляла ни о какой любви — разумеется, в его понимании — никак не могло проникнуть в его профессорскую голову, хотя он и не был твердолюбым.

Подвиги!

Нет, положительно он ничего собой не представляет. Может быть научиться чему-нибудь путному? Но как? И кто будет водить Римму в Гранд-отель? Долг прежде всего. А студентам он вреда не приносит. Ведь они изучают французскую литературу не потому, что это их занимает, а для диплома, хлебного местечка. Если бы занимало — не изу-

чали бы, а читали бы, как Горький, на чердаке при свете огарка... Люди стремятся к благоденствию. На зачетах он с горечью убедился, что никто из них не читал Стендаля. Если бы прочли его пылающие книги, им стыдно было бы произносить вслух о нем пепельно-серые слова, шуршащие, как осенние листья.

«Страшная эта штука — общеприятное.

Между тем: говорить на каждому шагу, что все прекрасно, что ты всем доволен, что будущее рисуется в самых ярких красках, и в это же время думать, что ты жалкий фигляр, который даже и соврать не умеет как следует, с видом бодрячка — не только не страшит, а кажется обычным, как брить, легкий ужин.

Сегодня на зачете никто не сумел ответить, почему это названо — «Красное и черное». Высказывали такие предположения — есть такая игра на рулетке, где ставят на черное и красное. Или еще — черная ряса и красный гусарский мундир. А один сказал:

— Это просто декадентские штучки, перед которыми нам, комсомольцам, не надо низкопоклонничать.

Я ответил:

— Как бы вы ему низко ни кланялись, товарищ, вы не станете низкопоклонником. Никто от вас не требует, чтобы вы низко кланялись, а, наоборот, — выше голову, может вам удастся разглядеть что-нибудь.

Рассказал об этом Римме. Она нахмурилась:

— Дурачок, не надо лезть на рожон. Ведь это же кампания.

Ночью опять зевала:

Все время напевает:

- любви не говори,
- ней все сказано...

Поют всюду — в ресторане — солистка джаза, по радио.

Я спросил Римму:

— Неужели всё.

Она взглянула на меня насмешливо:

— Что вы можете прибавить, товарищ профессор?

И такие у нее были скучающие глаза, и голос как у бывшей моей учительницы арифметики. Нежный, теплый, даже веселый, но почему-то мороз продирает по коже. Что-то в нем было черное.

Римма стала часто надевать только входившую тогда в моду широкую плиссированную юбку из черного креп-жоржета и красную блузу оттенка кардинал из мягкого фая. Очень соблазнительна. Поклонникам никакого внимания. Даже интереса не чувствуется ни к кому.

Неужто я обречен на счастливую семейную жизнь?

Ведь он о любви сколько написал, и даже отдельную книгу. А я могу только с грустью сказать, что я любим, люблю, и почему-то плакать хочется.

У него было шестеро главных любимых, и так — проходные. И у других тоже. Римма по этому поводу сказала:

— В современном обществе это устаревшая профессия — первый любовник. Американские миллионеры и советские токари объясняются в любви по телефону. Даже в театре отменены амплуа первых любовников.

— Значит...

— Глупышкин... Ведь они в старину больше ничего не умели. А мы все отлично совмещаем. — И чуть сморщив лоб Юноны: — И притом для умных людей эта любовь отнюдь не самая приятная нагрузка.

Оказывается, Римма снимается в кино. Ей за это не платят, а она?

«Я замечаю, что то, что я принимал за высокие горы, было лишь небольшими холмиками».

Тишина невероятно удлиняет время. Поэтому так томительно долго тянется ночь.

Поэтому тихий день в лесной и деревенской глуши гораздо дольше, чем шумный городской.

Тишина, начавшаяся в моей жизни, зачаровывает меня с нарастающей силой. Ее коварство я только начинаю постигать. Это вовсе не апогей досягаемости, покой снежных вершин, замирающие аккорды душевной гармонии.

Нет, нет!

Тишина — это гулкое безмолвие бездонной пропасти. В ней тоже есть звучание, но это — бескрасочный погребальный звон комаров, и вся она — выцветшая, серая, как сухая земля, задохшаяся от невыносимой жажды.

Ее стерегут татарники.

Стоят при дороге. Злые, колючие, многорукие.

С неопadaющей ясностью налетают на них ветры, хлещут серыми свистящими арапниками, улюлюкая над беспомощностью истязуемого. Он тщетно пытается убежать — многоруко размахивает, клонится долу, надрывается, намертво вросший в землю, а злой ветер выколачивает из него дух — белые пушинки разлетаются окрест.

Пока идешь по тернистому пути мучительных странствий к вершинам познания, шум, бури, ураганы дум, мечтаний, битва с фальшивыми фантомами, заглушает мертвую тишину, светит солнце, цветут все цветы.

Не потому ли так утратила Наполеона тишина опустевшей Москвы? Он без сомнения предпочел бы, чтобы из всех окон стреляли в него бояре.

Я не хочу никакой истины, даже самой относительной, потому что она всегда дует на меня смертным холодом снежной тишины, разочарования, последнего покоя».

Так начал свою книгу Корнелий Абрикосов.

А так продолжал:

«Боже, почему со мной не случилось ни одного несчастья?

Даже такой почтенный и независтливо-доброжелательный человек, как член-корреспондент Академии наук Подшивалов, явно не обладающий ни коварством друга, ни льстивостью тайного врага, вчера бубнил мне, когда мы пили чай в университетской столовой:

— Нет, вас просто бить некому, дражайший Корнелий Люцианович.

— Да, действительно некому, — машинально ответил я, — а ведь есть за что.

— Вот именно — есть. Вы молоды, находитесь в отличной форме, у вас нет катарра желудка, рахитичных детей, расплывшейся истеричной бабы на посту подруги жизни, а очаровательная юная особа, предмет зависти и воздыханий. Вы опубликовали семнадцать крупных работ, не считая мелких. Ваша монография о Стендале значительнее, чем труды наших прославленных французских коллег, Лансона и Фаге, а ведь им, как говорится, и карты в руки. Вам обеспечено кресло в Академии. И какого еще рожна вам надо? Просто и в толк не возьму ваши пессимистические речи.

В его бубнящих словах мне послышались странные звуки. Будто тяжелые капли ржаво-бурого холодного дождя падают на мою свежеврытую могилу, сбивая лепестки красных и черных роз. Я их отчетливо видел, эти пунцовые и агатовые розы. Все чаще замечаю: все, что мне слышится, я вижу, все, что видится, — я слышу.

Вместе с тишиной в мою жизнь, помимо моей воли — как сопротивляться? — внедряется автоматика и телемеханика вечности, которая вот уже несколько тысячелетий все нивелирует настойчиво и незримо.

Это получается так.

Индивидуальные усилия — в том числе и потуги гениев — в надлежащий момент включаются в автоматическую линию, идущую параллельно с устремлениями личностей, народов, мятежных масс. И вот все эти герои, толпы, революции из мятущегося шумного водоворота, очевидно, под влиянием радиации, упорядочиваются в затихающий поток и

движутся неукоснительно по конвейеру бесконечности к полюсу тишины.

Все к этому так привыкли, что даже ученые не могут уловить того момента, когда личность превращается в безличную песчинку потока незаряженных частиц, отдавая свой заряд предварительно нивесть для чего. Такие же превращения испытывают народы, теряющие свою потенцию после каждого взрыва — они становятся на века толпами, даже стадами скорее, которые пасут кочевники, кондотьеры, авантюристы и просто разбойники.

Мучительно ищу момент включения, но не могу обнаружить.

Может быть не смею?

Началось это так.

День уже с утра неудержимо захватывает меня, словно конвейер нужную деталь, выбрасывает меня вместе с портфелем в машину — собственную!

Потом вытряхивает поочередно в аудитории, где я автоматически — мозг мой управляется из отдельного телецентра — читаю лекции, предварительно одобренные, — затем в столовую, в библиотеку, домой, в театр, в постель.

Машинально ем — меню механизировано навечно.

Проглатываю газетные пилюли.

Квартира ко мне привинчена навечно. И разве я посмею сказать, что обладая квартирой с рижской мебелью и текинскими коврами, пианино «Ленинград», холодильником и пылесосом, — я недоволен, и хотел бы, как мой беспутный дядя, тамбовский врач, спасший многих людей, дававший беднякам свои деньги, бесребреник, пьяница, картежник, нежный муж и отец, благотворитель и сквернослов, каждые три года переезжал на новую квартиру, неизменно при этом давая объявления в газете: «Врач И. П. Абрикосов опять переехал. Адрес - ...».

В театре актеры притворяются живыми людьми, а я — что мне все это интересно. Даже хлопаю, чтобы не уснуть. Как только гаснет свет, соседи начинают пожирать глазами Римму — она автоматически пленяет всех. Дома зевает, еще

не раздевшись — это как бы условный сигнал, что надо остановить конвейер.

И, представьте, — я никак не могу стать несчастливым.

Так как он, когда его бросила Манти, или отказывала Матильда Домбовская, которую он безумно любил до самой смерти, или ласкала Анжелика Берейтер, которую он по собственному признанию никогда не любил.

Римма все еще напевает:

О любви не говори,

О ней все сказано...

А я от личного и всеобщего благополучия лезу на стенку. Но даже лезу вяло, потихоньку карабкаюсь. Как бы чего не вышло!»

Любопытно, что, записывая все это, Корнелий Абриков даже ни разу не подумал о том, что рождается ставшая впоследствии знаменитой книга «Времена, краски, люди».

Ведь это одно могло его осчастливить, разорвать паутины, автоматике и телемеханики. Но разве люди, даже гениальные, ведают, что творят?

Гоголь сжег «Мертвые души».

Скрывая от людей «Хаджи Мурата», Толстой писал проповеди, достойные хлыстовской богородицы.

Пушкин и Лермонтов добровольно шли в капкан.

Разве это можно объяснить?

«Астероиды и метеориты излучают в льдистый эфир фосфорическое сияние. Тихие волны зодиакального света плещутся у беломраморных плеч Риммы, гаснет в темноте костер на ее неподвижной голове. Я прикасаюсь к ее волосам. Но они так же далеки от меня, как Волосы Вероники. Чтобы добраться до этой туманности, надо двигаться миллионы лет со скоростью света. Огненно-красно мерцают локонны Риммы, предвещая черную бессонную ночь.

Тишина.

О, дайте мне кабриолет, запряженный брабансонами, ларец с вином, походные шандалы, пышногрудую марки-тантку, ночь, пронизанную зодиакальным светом и метель из падающих звезд!

О Стендале профессора всего земного шара рассказали множество анекдотов.

Сам он тоже с чрезвычайным усердием распространял о себе сказки, небылицы, чтобы заглушить в себе трагический лейтмотив всех непризнанных гениев, — он был слишком горд, чтоб показать, как он страдает от непризнания толпы, которую втайне любил, хотя это и позорило его кузена, маршала Дарю.

Но разве были на земле гении, признанные раньше, чем их выжили, или они сами себя выпроводили в пантеон?

Пора прекратить эти рассказы. Известные биографии гениев большей частью скверные анекдоты. Их истинная жизнь в творениях. Зная это, профессора и исследователи рекламируют анекдоты и топят в вульгарных домыслах творчество. Дикаря Шекспира завивают в парикмахерских, делают маникюр львиногогистому Достоевскому, красное и черное превращают в серобуро-малиновое, похотливыми взорами щупают грудь Марии, кормящей святого младенца.

Но, может быть, человечество на большее не способно?

Ведь и я в самые священные дни моей любви, когда псалмы моему божеству Римме, жадно, торопливо и неумело срывал с нее платье.

Святые истины, которые раньше или позже всегда оказываются низкими, продажными, как иконы чудотворцев, — когда вас перестанут продавать на ярмарках?

Где же мое счастье?

Счастье мое, как всегда, впереди.

Однако мы все настолько безумны, что до седых волос надеемся встретиться с ним лицом к лицу.

Происходило ли что-нибудь на свете?

Когда я читаю газеты, мне кажется, что происходит. Но чуть только Римма зовет меня пить кофе, — газет она

никогда не берет в руки, — как я, к стыду своему, замечаю, что кофе, аппетитно пахнущие гренки и холодная телятина занимают меня больше, чем речи на заседании, или Генеральной Ассамблее Объединенных наций, которую Римма называет ВРУН. Расшифровывается это так: всемирное разъединение умалишенных наций.

После лекций и заседаний я так же аппетитно поглядываю на закуски, выпиваю с наслаждением бокал цинандали, — и думаю, если бы меня любила Римма, я бы без архимедовского рычага поднял эту планетку до заоблачных высот.

Кстати, секретарь партийной организации публично похвалил меня за статью «Не сотвори себе кумира», сказав, что это по-настоящему партийная статья, в которой резко критикуется низкопоклонство.

Я действительно обрушился на кумиров, призывая поклониться истинным богам.

Римма читает «Красное и черное». С ней происходит что-то неладное. Побледнели румяные щеки.

Черные полукружья тончайшими шнурками протянулись в подглазьях.

Месяца два спустя Римма сказала мне за ужином:

— Ты знаешь, я была серьезно больна. Надо запретить распространение такой заразы. Самое отвратительное соблазнять тем, чего нет. И тебе еще ставят в заслугу, что ты пишешь книги во славу этого обманщика.

— А что же, по-твоему, есть в нашей жизни?

— Ты сам отлично знаешь, профессор. Или тебе не известно, чем ты обладаешь? Могу тебе составить краткий реестр.

— Это мне, конечно, известно. Но дело в том, что, как недавно выяснилось, этот обманщик и его выдумки мне почему-то дороже всего на свете.

— Даже меня?

— Дорогая моя, если бы я мог вообразить, что ты моя, то за такую выдумку я охотно отдал бы другую половину жизни — первую я уже отдал, безвозмездно.

Немного подумав, она сказала:

— Вот видишь, что может сделать такой коварный соблазнитель с таким почтенным профессором...

Я молчал.

— Мне казалось, — обиженно продолжала Римма, — что ты всем доволен... Ну, а если ничего подобного не произойдет, ты начнешь искать другие выдумки? Меня тоже выдумывают некоторые поклонники, но я не принимаю ангажемента на сомнительные роли и трагикомедиях. И тебе не советую выдумывать для себя неподходящие роли.

Ночью она не зевала. И если играла роль, то более чем естественно. Из опасения? Или любопытства? Увидела во мне что-то новое? и захотела получше разглядеть?

Порой мне кажется, что красота это яд более сильный, чем цианистый калий. Чувствую, что Римма, Стендаль, даже невиданные мною красоты Италии уже сделали свое черное дело.

Такая забавная мысль:

— Что, если бы не было денег? И все необходимое люди получали безвозмездно? Конечно, я могу только говорить о самом себе и близких. Что бы я стал делать? Право, не знаю, но уж во всяком случае не читал бы лекций. Да и слушать, вероятно, никто не стал бы.

Что бы стала делать Римма? Вряд ли жила бы со мной. Скорее всего позировала художникам.

Подшивалов играл бы в шахматы.

Разумеется, труд является первой потребностью. Но есть более сложные проблемы: является ли первой потребностью делать что-нибудь полезное для других, для общества?

Я заметил, что люди охотно занимаются только бесполезными делами, даже в ущерб себе и близким. И больше всего ценят безделушки — легко бьющийся фарфор, статуэтки, вроде моей Риммы, на которую я трачу почти все, что у меня есть. И она тоже никому пользы не приносит. Работнице, которая работает с утра до ночи, я плачу меньше, чем Римма тратит на духи.

Можно ли назвать пороком то, что является главным отличием человеческого рода — лицемерие и двоедушие?

Лицемерие даже требует героизма, большой выдержки, чтобы не выдать себя.

Если бы мы с Риммой говорили друг другу правду, если бы я рассказывал свои мысли студентам — что получилось бы?

Но если бы вы знали, до чего хочется быть счастливым! Для этого я даже пошел на рискованное предприятие. Вознамерился разбить свое семейное счастье, завел роман с хорошенькой маникюршей. Я рассчитывал, что Римма, узнав об этом, что-то предпримет. Заварится каша, — и кто его знает: может быть это заставит ее полюбить или, по крайней мере, ревновать меня, или меня — разлюбить ее, или нас обоих — что-то предпринять. По-видимому, двоедушие или равнодушие уже изрядно исклевали мое сердце, потому что я не раз думал о расставании с миром без страха, будто речь идет о потере моих любимых запонок из халцедона. Не знаю, можно ли говорить о разочарованности, когда я так страстно люблю и сегодня аромат ландыша, лазурь неба, утренний лес?

А Римма?

А Стендаль?

И даже, если хотите, — кружка пива в баре с королем оптимистов, пухлым и усатым Виталием Веселовым, редактором толстого журнала.

История вкратце такова: он как-то написал рассказ «Фигус», слабое подражание чеховскому «Ионычу». И еще несколько в том же роде. Поскольку всё там было на месте, ни малейшей претензии на свои мысли, о нем заговорили как о молодом писателе, подающем надежды. Веселов разговоры эти принял к сведению. Отец его был отставным генералом царской армии. Памятуя это, он начал всюду усиленно каяться, прославлять третьесортных писаков или величайших новаторов, писал очерки об очистке прудов и статьи о том, что пора покончить с загрязнением легких Советского Человека. Вел также активную общественную работу. Затем

рос. Вступил в партию. С усталым видом добровольного мученика принимал любые нагрузки. И когда скопилось их около дюжины, наконец, свободно вздохнул — слава Богу, теперь можно писать один рассказ в пять лет и всюду вопить, что он так загружен, месяцами не может сесть за письменный стол, взять перо в руки.

Он облысен. Брюшко. Жена его, любившая сладко есть и сладко спать, наращивала свои многопудовые прелести, дети росли, о них не писали фельетонов и протоколов в милиции.

И вот — он редактор толстого журнала. Теперь уже не надо каяться, можно и совсем не писать.

Он был весь черный, хотя лицо у него было болезненно-белое и глаза прилипчиво красные. Но все же он был черный и без определенных очертаний.

В присутствии важных персон он сжимался до самого минимального объема, так что выглядел серым комочком — даже иссиня-черные волосы, торчавшие воинственными вихрами над плешью, как ветви ольхи над болотом, покорно ложились, стыдливо прикрывая желтое темя. И слова его, обычно нанизанные монистом из черного звонкого стекла-руса, в присутствии особ шуршали и попискивали, как серые мышата. А на моих глазах, особенно когда он поучал меня за кружкой пива, все в нем начинало дыбиться, крупнеть, расширяться — плечи поднимались, как коромысла, надувалась грудь, превращаясь в черную бочку. Красные глаза выкатывались из орбит, оттопыривались губы, а слова постепенно густели, темнели, тяжелели и уже ухали, словно он забивал сваи. Потом он откидывался довольный, опадал, как опара, и слова уже снова нанизывались, как черный стеклярус, даже не слова, а словечки, словчата, соловушки, будто и в помине не было никаких свай. Случалось, говоря со мной, он как-то незаметно исчезал, словно подымался в пространство, должно быть уходил в свои двенадцать нагрузок — и мне это было очень приятно.

Вообще я заметил в себе опасную странность — чем меньше и реже я встречался с людьми, тем больше я себя

чувствовал настоящим человеком, хотя очень люблю людей, всю жизнь мечтал о хороших друзьях, искал их чуть не в каждом новом знакомом, пока не понял, что мои друзья еще не родились. С Веселовым я тоже пытался сблизиться, пробовал с ним быть откровенным. Но душа его была оборудована фильтром, не пропускавшим ни одной вредной для него или хотя бы бесполезной мысли. А для него было вредно все то, что не было одобрено свыше, а даже самое маленькое сомнение он считал недопустимым.

Веселов пригласил меня в свой журнал в качестве обозревателя иностранных новинок. Задачу он мне предложил несложную — умалчивать о значительном, болтать о пустяках, обрушивать громы на бульварную литературу, о которой не писал за рубежом ни один критик, а читали консьержки и мединетки.

Веселов всегда представлял меня своим гостям, не звавшим меня:

— Профессор Абрикосов, мой лучший друг.

Вначале он действовал на меня, как бром с люминалом. У него не было ни минуты свободного времени для того, чтобы о чем-нибудь подумать серьезно. Однажды я спросил его:

— Виталий, жена тебя любит?

Он сделал большие глаза:

— Но, друг мой, разве в нашу эпоху можно думать о таких вещах? И какое это имеет значение?!

— Но для тебя лично...

Он заговорил, как учитель младших классов, диктующий важную сентенцию:

— Запомни раз и навсегда, что у меня нет ничего личного. И тебе не советую заводитьсь этим бараклом. Что касается моей семьи, то все члены этого маленького, но крепко сплоченного коллектива вносят свой вклад. В том числе и жена. Все! — заключил он по обыкновению.

У него действительно не было ничего личного. Всем известно было, что жена его не очень разборчива в своих связях и слишком уж расточительна. Но он ничего не замечал.

Поначалу я любил с ним ходить в бар, смотреть, как он артистически чистит раков и, проглотив очередную шейку, озабоченно поглядывает на часы. По-видимому, он тоже меня ценил, ибо дарил мне больше времени, чем самому маститому прозаику.

Но вот уже возникает у меня сомнение. Я искренно считаю его положительным героем, но уверен, что критики скажут, будто я над ним злорадствую. А я попросту завидую, так же, как радиокомментатору Вадиму Синявскому и диктору Левитану.

А он сказал:

— Слава — солнце мертвых.

Римма пошла на отчаянный риск.

У нас родилась дочь.

Какую она цель преследует? Сделано это, конечно, не без умысла.

Теперь Римма, которая не переносит детей, по целым дням возится с дочуркой, на меня не обращает внимания, давая этим понять, что она не может разорваться. Любить — так уж кого-нибудь одного.

Римма не подурнела.

Я пришел к окончательному выводу, что она вовсе не нуждается в чьей-то любви или ласках — ей хватает собственной любви к себе, ласкает ее зеркало. И у нее тоже нет времени думать. Когда Мурка не мурлычет, не плачет, не ест, Римма спит — Боже, как она любит спать.

Маникюрша доставляет мне некоторые удовольствия, и я не думаю с ней расставаться. Я даже стал к ней привыкать. Но она вышла замуж. И должен признаться, что я даже не испытал сотой доли того отчаяния, которые он испытал, расставаясь с Манти.

Нет, должно быть мне никогда не удастся ни счастливая, ни несчастная любовь.

У Веселовых по субботам журфиксы.

Квартира у них уютная. Приходят писатели и деятели. Играют в покер по маленькой и, как сформулировал сам хозяин, треплются. Конечно, никаких опасных мыслей. Саломея Веселова довольна, что у нее такой муж, такое общество, такая квартира, плюшевые диванчики.

Некоторые жалуются на дороговизну, неважное снабжение, жилищный кризис. Осторожно поговаривают о бюрократах.

Хотя Римма несколько раз нажала на мою любимую мозоль под столом, я все же не удержался:

— Если бы всех заседающих в десятках тысяч больших и малых канцелярий заставили выращивать хлеб, свеклу, тачать сапоги, строить дома и пилить лес, у нас было бы всего втрое больше, стоило бы в три раза дешевле и ощущалась бы нехватка в одних дармоедах. Но на это трудящиеся вряд ли бы сетовали.

— Значит, по-твоему, умственные труженики — дармоеды? — угрожающе спросил Веселов.

Я ответил как можно тише:

— Не все. Но несколько миллионов советских, партийных, комсомольских, профсоюзных и военно-милицейских бездельников содержим. Роскошь — не по карману.

Воцарилось неловкое молчание.

В этот вечер игра в покер и танцы под радиолу прошли без обычного оживления.

Римма смотрела на меня, как будто жевала что-то невкусное. Она даже слегка хрипела:

— Ты не думай, что ты умнее всех. И это тоже неважно. Допустим, что умнее... Но разве от этого что-нибудь изменится? Саломея мне сказала, что ты своей глупой репликой испортил ей вечер. Кроме того, несмотря на маникюршу, ты — вечный муж. Еще отец.

Однако ночью она не зевала.

Бережет свое гнездо?

А я все думаю, думаю...

Мурка уже бегают по комнатам. Время идет. Но я не могу этого ощутить — ничего не меняется, особенно — люди. Встретишь человека, которого не видел двадцать лет, и даже не замечаешь, что у него проседь, до того он все тот же — те же слова, желания, страстишки, испуг на лице. Много появилось и таких, которые в свое время исчезли. Все они очень энергичны, выступают, работают, веселятся — кажется, что они были не в лагерях, а отдыхали в санаториях. Понемножку кокетничают. А я кисну. Даже им завидую.

По субботам у Веселовых разговоры стали другие.

Что — подул свежий ветер?

Веселов как-то обронил:

— Демократия в действии. Понятно, Корнелий?

Все говорят — новый курс.

Но я не понимаю, в чем он заключается.

Я сказал:

— Демократия понятие слишком растяжимое. Всегда рискуешь перехлестнуть через край. Берегов-то ведь не видно, пока тебе не ткнут пальцем или палкой.

Римма волновалась. Я ей тихо шепнул на ухо:

— Милая моя. Неужто ты за меня боишься?

Опять становится скучно... Похоже, что отзвонили и с колокольни долой.

Что-то будет?

И все-таки, если Римма мне изменит, я этого не переживу.

Все может быть. Я ни от чего не отказываюсь.

Любопытно, что студенты сейчас как-то отдаляются от меня. Может быть уже не ждут ничего хорошего. Я им даже рискнул сказать, что мой любимый поэт — Франсуа Вийон.

Не подействовало.

Веселов на меня обиделся за то, что я не читаю книг советских писателей. Назвал меня снобом. Но мне ведь просто некогда. Он сказал:

— Ты нас всех считаешь лакировщиками...

— Не в этом дело — перебил я его. — Каждый художник лакирует свои картины. Такой писатель, как Софокл

— неисправимый лакировщик. Горький делал босяков, пекарей и богомазов философами — это ли не лакировка? Но тусклые картины не сделаешь блестящими, сколько ни лакируй. В искусстве все позволено, но только тому, кто на всё способен.

«На эспланаде Сан-Пьетро ин-Монторио меня посетила блестящая мысль о том, что мне скоро исполнится пятьдесят лет и пора уже подумать об уходе, но раньше себе доставить удовольствие на минуту оглянуться назад».

Как освободится от тирании чужих стремлений, которым приходится отдавать свою жизнь? Скажу яснее. Свобода может быть только одна — делать то, что хочется. Но такой свободой еще никто не обладал. Что касается меня, то я уже и сам не знаю, что делать. Трагедии происходят только у тех, которые много размышляют и мало делают. Рабочие и крестьяне не знают трагедий.

Веселов мне как-то на днях сказал:

— Я делаю большое дело.

Какое? — подумал я. — Охраняет литературу от того, чтобы в нее не проникло что-нибудь выдающееся?

Иногда мне становится страшно. Вот я один на всей земле. А ведь одиночество самое страшное несчастье.

Блестящая мысль: может быть я один из последних могокан, лишних людей?

Еще блестящая мысль: что, если я объявлю себя лишним? Мне за это платить будут? Надо посоветоваться с Риммой?

Но как чертовски прекрасна жизнь, даже когда ты поднялся на пятидесятую ступеньку. Как можно задавать такие вопросы: Быть или не быть? Презираю всяческое небытие.

Никогда, никогда я этого не сделаю.

В газете появилось объявление в траурной рамке:

После продолжительной болезни скончался член-корреспондент Академии наук Глеб Константинович Подшивалов.

Римма, ввиду того, что покойный был моим товари-

щем, иногда навещал нас, надела черное бархатное платье без всякой отделки. Слева над глубоким вырезом она приколола хорошо сработанную красную розу. Все были взволнованы ее красотой. Даже она сама. Я был счастлив весь этот вечер от опьяняющего отчаяния. Пусть она любила меня одну ночь — за это стоит все отдать. Эта мысль вцепилась в мою душу, как репей. Я уже больше не мог поверить, что этой ночи не было.

Мужчины смотрели на Римму с грустью. Вероятно, поэтому пили много водки, спорили, рубили с плеча и даже в покер играть не стали.

Женщины раздували ноздри. У иных покраснели скулы. На кладбище ветер трепал их ресницы, как бахрому флагов. Я думал о том, что по мере того, как краснеют их щеки, чернеют сердца, — это можно было заметить по зловещему блеску глаз.

Увлеченный всем этим, я забыл о смерти моего хорошего товарища Подшивалова.

— Я что-то не слышал о том, что он тяжело болен. — В голосе Веселова прозвучало недоумение. Это было понятно. Ведь он широко осведомленный человек. И вдруг скончался видный человек, не поставив его предварительно в известность.

— Ты не слышал? А болел он долго и неизлечимо, не знаю, как эта болезнь называется по-русски. Но симптомы ее таковы: жена — курортная шлюха, сына-стилягу исключили из университета, дочь пошла по следам матери, кроме того, стала воровкой, на прошлой неделе ее присудили к десяти годам тюрьмы. Ну, вот он и решил полечиться небольшой дозой цианистого калия. Действует наверняка.

— Но причем тут тяжелая болезнь? — удивился Веселов.

— А ты находишь, что легкая? — в свою очередь удивился я.

Тут все заспорили, зашумели, у женщин посветлели лица — слава Богу, все уж не были заморожены Риммой.

Жене Подшивалова пенсии не дали.

В общем, жить не плохо, — думал я все чаще, но поскольку жизнь моя слишком зависела от Риммы, я опасался предпринимать что-нибудь новое и только мечтал завести себе дачу и работать во саду ли в огороде.

Но у Риммы были другие планы. Она начала усиленно копить деньги и грызлась, когда я ее спрашивал: почему она не покупает ни лососины, ни икры?

— Отстань! — говорила она сердито.

Может быть случится что-нибудь серьезное?

С этого все и началось.

Неустойчивые дни, обещая что-то с утра, валились в ночь, зря намаявшись. Воспоминания о них походили на перегруженный дом инвалидов. Память — опасное кладбище, где могилы раскрываются самовольно. Если бы ее усовершенствовать, как крематорий.

А Римма все копит деньги, так же, как я ненужные сведения, опасные мысли и прочую ветошь. Для чего?

Оказывается, Римма хочет поехать в Италию. Ей обещали туристские путевки. Я сразу же вспомнил «Прогулки по Риму, галерею Уффици, голубей на площади Святого Марка, венецианские лагуны, виллу Боргезе, карнавал на Корсо и еще многое, чего я никогда не видел».

Как в дни жюльверновского детства, у меня слегка задрожали колени. Римме я ничего не сказал.

Италия! Это не метафизический клуб. Даже Гёте, подъезжая к Риму, сказал:

— Наконец-то я родился.

Так вот с этого все и началось.

Только и разговору было, что об Италии.

Римма все время говорила об Италии. Я даже не был для нее зеркалом, а только магнитофоном. Она не глядела на меня, а я слушал ее покорно, как записывающий аппарат.

Но, по-видимому, и эту маленькую роль я сыграл не

так уж бездарно, потому что, окончив свое свидание с Неаполем, в который она влюбилась заочно, она посмотрела на мое лицо и сказала:

— Боже! До чего же ты неисправим. Ну, обними же меня.

Где-то я читал, что надменные красавицы не замечают слуг, раздеваются при них. Должно быть, это не так.

В общем — магнитофон.

Неизвестно, что впереди.

Но есть долг, есть большая работа, освобождающая от вчерашней муки. Жизнь хороша. Труд, ясный ум и разумение — улада, которой никто не может отнять. Возможна смерть. Но ее еще нет. А когда она вырвет меня, некому будет бояться смерти и жалеть о прошлом. Итак, да здравствует жизнь!

Опять пил пиво с Веселовым.

Он ко мне уже давно пристаёт, чтобы я написал насчет холодной войны, о том, как лучшие европейские умы, Роллан, Барбюс и другие ненавидели империалистические боины.

А я не могу собраться с мыслями. Я родился во время первой мировой войны, дрался на второй, не хочу дожить до третьей. Холодная, горячая...

Веселов бубнил:

— Это главное для нас, передовой интеллигенции — не дать возникнуть новой бойне.

— Ничего не выйдет, — сказал я, вздохнув. — Для этого нужна не стряпня журналистов, а дела серьезных людей. А что происходит в мире? Выходят тысячи книг по военной стратегии и ни одной по стратегии мира. Готовят столько бомб, что они сами могут начать рваться от нетерпения. Все договора, соглашения, о которых болтают так много и неумно, — чушь. Стратегия мира — это два слова: Долой оружие! Ни одной винтовки, ни одной бомбы, ни одного солдата на земле.

Веселов махнул рукой. Он смотрел на меня, как на безнадёжного идиота.

— Опять утопия.

— Зачем же трепаться? Генералы готовятся перетряхнуть этот шарик. Они лишены сентиментальности, которую высокопарно называют гуманизмом. Если не досчитаются какого-нибудь миллиарда квартирантов, так это, пожалуй, к лучшему. Слишком многолюдно на улицах. Безработные. Возникают беспорядки. Притом же — кибернетика?

— Ты что, от пива опьянел?

Я посмотрел на него вызывающе:

— Собираюсь пить кьянти. Римма угощает.

«Настанет ли такое время, когда ясное и простое понимание законов материи будет определять собой взаимную связь человеческих обществ?»

Восторгаться бессмертными творениями надо втихомолку, чтобы никто не видел, не слышал. Кричать об этом, разводить словоблудие — это почти то же самое, как если бы я стал рассказывать о моих ночах с Риммой, когда она еще не зевала.

Но я должен читать лекции. Мне-то ничего не нужно. Я бы сумел еще стать садовником, книги есть в библиотеках, покупать их не обязательно. Но — Римма, Мурка. Никто даже не скажет, что я жертвую собой... За шесть тысяч в месяц, — хорошенькая жертва?

Еще один замысел.

Не написаны самые потрясающие трагедии — воспоминания и исповеди, плачи и стенания о неосуществленных замыслах. По-видимому, человечество боится воздвигнуть памятник своему бессилию. Неужто оно столько веков гордилось своим божественным Разумом, чтобы в конце концов капитулировать и вернуться к слепой вере и послушанию, но уж гораздо менее импозантным богам, божкам и даже горшкам?

Ветер старой Европы — мистраль — дует мне в лицо.

Дым от костра, где догорает трактат Иммануила Канта о вечном мире. Едкий аромат трубки фернейского мудреца.

Веселов постоянно делает мне гнусные предложения. Сегодня говорит:

— Напиши мне острую статейку на два печатных листика «Горький и Запад». Насчет Клима Самгина заверни, как воплощении маразма вырождающейся буржуазной интеллигенции.

— И насчет фокстрота еще что-нибудь завернуть?

— Я — серьезно, — обиделся Веселов.

— И я — серьезно... Маразм это — вроде лимбургского сыра. Воняет. Ну, а если приправить клубничкой и фокстротом — то удивительно вкусно, искристо и остро... Нет, не возьмусь.

— Но почему?

— Не могу писать о себе.

— Странно... — он почесал свою плешь. — Позволь тогда спросить, ты кто? Горький, Самгин или вырождающийся интеллигент.

— Все вместе. Вот Стендаль тоже не умел писать о себе, хотя Стефан Цвейг, очевидно по недоразумению, назвал его певцом своей жизни. А Горький всегда о себе писал. Все его герои — это он.

— Протей?

— Если тебе угодно.

— И Самгин?

— В особенности.

— Ну, знаешь...

— И ты тоже это знаешь... Прости, но я вспоминаю постоянно слова Жореса: — Лучше говорить правду, чем быть министром.

— Я просто возмущен. Об Алексее Максимовиче, нашем...

— Не убеждай меня напрасно и не расстраивайся — ты и так будешь министром.

Веселов постарался позабыть этот разговор.

Далеко шагнет мой приятель Виталий Веселов. Пожа-

луй, принимать меня не будет, разве только из-за Риммы...

И так постоянно.

То предлагает раздраконить Джойса и Ромена, зная, — он ведь все знает, его мозг — картотека мирового сплетника, — что я считаю их великими писателями, или о русском переводе «Божественной комедии», зная мое отношение к переводам вообще. Когда я читал перевод «Божественной комедии», мне казалось, что ее автор — Херасков. Язык — это все. Другой язык требует перемены мыслей. Для этого нужен не переводчик, а конгениальный мастер.

На это он мне ответил:

— Знаешь, Корнелий, в тебе что-то есть... — и замаялся, но по глазам его и губам ясно — хотел сказать: не наше.

Я ему сказал:

— Да, во мне что-то есть...

Веселов задумался. Но так как на этот счет нет никаких постановлений, он смолчал и мы стали пить пиво.

Эх, люблю пиво! Раковые шейки!

Мраморные столики со следами пены.

Неужели я растолстею? Жуть! Я убежден, что именно за ожирение фортуна разлюбила Наполеона.

История — учительница, поседевшая в неутомимых трудах, безнадежно бездарна. Подумать только — за несколько тысячелетий ничему путному не научила своих учеников.

Как жаль, что ее нельзя уволить и взять на ее место новую. Не нашли еще подходящей кандидатуры. Недаром индусы, Руссо и Толстой считали, что можно вообще обойтись без истории, тем более, что старушка все более завирается от множества путаных и противоречивых программ, которые ей подсовывают разные педагоги и реформаторы. Она все еще надеется на Божий катехизис — авось вывезет. Хороша наука!

Окончательно меня рассорила с историей Римма.

Она заявила, что хочет быть дикаркой и скакать по миру с бубенчиками. Никакой истории нет — все это пустая болтовня и досужие вымыслы о разных дураках. Есть только

география, — но, разумеется, не книжная. Римма презирает книги, зная, что это моя страсть. Может быть, ревнует. Чтобы ревновать, вовсе не обязательно любить. Ревностью Римма меня все-таки достаивает. Вчера ночью, когда мы вернулись из театра, «Гамлета» смотрели, — она сказала:

— Вот мы с тобой заделаемся землепроходцами. Это глупости, что кто-то может открыть для всех Америку. Каждый должен для себя открывать. Я вовсе не обязана верить Колумбу, что он что-то там открыл. Уверена, что если я туда поеду, я открою совсем другое, и, может быть, более интересное. И ты способен кое-что открыть, только при условии, что к тому времени не поумнеешь от всех своих наук и философий до того, что станешь круглым дураком... Как Гамлет. Тоже, видишь какого дурака он сваял. Вместо того, чтобы с такими средствами и с такой девочкой, как Офелия, как следует пожуировать, он погряз в какой-то семейной слякоти и пока там все это мусолил, его и слопали с потрохами. И поделом — не будь размазней.

Я пришел в такой восторг, что стал безумно целовать ее прохладные плечи, хотя она и отбивалась. Потом захотала:

— Научила на свою голову...

Мы развеселились и не могли сразу уснуть, ругали на чем свет стоит все науки, философии, и окончательно решились, что будем землепроходцами.

— И знаешь, — сказала она, — у нас уже для этого есть данные. Двадцать тысяч на книжке.

Я не хотел ее огорчить соображением о валюте, так как в эту минуту она казалась мне единственной и несомненной ценостью.

Если бы можно было хоть в чем-нибудь увериться!

Жизнь — мозаика из красных и черных дней. Душа — тоже. Они посылают друг другу невпопад двухцветных зайчиков, и все мелькает, мельтешит, слепит. И взаимно ослепляются двуличием, двойственностью.

Виталий Веселов, словно катапульта, забрасывает, куда

только можно, ракеты уверенности. Но я далеко не уверен в его собственной уверенности. Однажды мы возвращались из бара сильно навеселе. Я мгновенно ослепил его сильным зайчиком:

— Скажи, Виталий, ты счастлив?

Он почему-то зажмурил глаза и ответил:

— Нет, черт возьми, все-таки нет!

И так выходит, что я со своим несчастливым счастьем, бездушным по содержанию, но божественно-совершенным по форме, еще могу взять верх над самим Виталием Веселовым.

Глаз-то я не зажмуриваю!

Я не безработный принц, не претендую ни на какой трон, хотел бы переделать мир к лучшему, но остановка за маленьким — мир не хочет.

Поэтому у меня ничего нет, кроме любви к Римме. И она это отлично знает. И будет вить из меня веревки. Если заблагорассудится, как бы невзначай сделает мне петлю.

Женщины и дети играют жизнью бессознательно — их нельзя считать преступниками. В конце концов Римма мне дала столько горького счастья, — а сладенького я не люблю, — что я уже могу отставить бокал, — иначе я рискую сделаться алкоголиком и не смогу переделать мир, если меня призовут.

Вот они, зайчики!

«Отвратительно и тяжело совмещать любовь с подозрением».

Из-за такого совмещения я когда-нибудь погибну. Это вам не лекции по французской литературе.

Что вы на меня смотрите все, будто я вам должен полтора рубля?

Веселов — цельный и монолитный, лысина у него, как тонзура, — уже начинает на меня поглядывать свысока. Я, конечно, не цельный и не монолитный, не изверг добродетели, как сказал Тургенев.

Что же мне — разорвать раздвоенность на две цельности? Но ведь из этого ничего не выйдет. В искусстве количество не переходит в качество. Три тысячи посредственностей вместе не составляют даже ни одного гения, хотя бы коллективного.

Однако, попробуй разорваться.

Скажете — Дон-Кихот, — согласен.

Скажете — Гамлет, — тоже согласен.

От них мы никуда не уйдем. Уж третий век над ними смеются, плачут, строят гримасы и догадки, но ведь они наши отцы, а мы их родные дети.

Можете сколько угодно презирать меня, Виталий Веселов.

Сначала для красивой жизни строили красивые дома, храмы, форумы.

Потом для разгульной жизни строили роскошные особняки и кабаки.

Теперь, главным образом, строят казармы для солдат и всех прочих, поставляющих солдат.

Без излишеств.

Впрочем, если хорошенько подумать, то здание Браманте и Палладия, книги Стендаля не нужны народам, занятым, по верному наблюдению Энгельса, исключительно поставкой солдат. Как известно, Франция не гордится Стендалем. Теперь все гордятся радиусом действия водородной бомбы.

Именно поэтому я с таким неистовством пишу свою книгу о любви.

В сущности, все искусство мира посвящено одной теме — любви.

Я не говорил об этом потому, что навек ушиблен Риммой.

Если хотите знать, я вовсе не ушиблен, а вознесен на небо, откуда вижу все пространства и времена, окрашен-

ные в черный цвет смерти, но одновременно озаренные красным цветом жизни. Свет вовсе не белый, как думают оглушенные народы, он черно-красный, как новый купальный костюм Риммы.

Любовь — не только душа искусства, она — закон жизни, разум вселенной. Это понял только один мыслитель — Фейербах, и его осмеяли, как всех пророков.

Но жизнь, изменчивая, как женщина, признавая этот закон на словах, отвергает его на деле.

Она обещает все, но, ничего не дав, уступает свою жертву смерти. Лучше всех это выразил Леонардо. Красные губы, сулящие рай, глаза черные, как бездна ада, черно-красная улыбка.

Вернутся на карусели боги и дьяволы, черные сутаны, красные мантии, Каин в обнимку с Авелем, Иуда, лобызавший Сына Человеческого, Робеспьер, гильотинирующий, и Робеспьер, гильотинированный, народные избранники, которые закладывают в карусель водородную бомбу.

И разумея, что Римма не может мне дать того, что нет в жизни, я целую ее красные губы, пью до дна безнадежность из ее черных глаз — она всегда крепко спит, мой поцелуй ее никогда не разбудит.

Огромная красная луна вползает на брюхе в черную пасть ночи.

Опять повздорил с Веселовым.

Он уже начинает изрекать, чувствуя себя непогрешимым, как управдом. Для придания себе веса размахивает тяжеловесными цитатами. Хотел меня оглушить многопудовой цитатой насчет какой-то теории искусства, хотя ему давно известно, что настоящее произведение искусства я считаю чудом. В этом вся моя теория.

- Ты только послушай, что сказал Франц Меринг...
- Это мне не интересно, а у тебя есть что сказать?
- Но заветы...
- И газеты, — промурлыкал я на мотив Оффенбаха.
- Конечно, мы не догматики, а авторитеты...

— А ты заметил, Виталий, что в кабинетах всех атеистов стоят иконостасы?

Он сильно разозлился.

— Ну, знаешь если уж на то пошло, то серьезным людям вовсе и не зазорно канонизировать большие идеи. Во всяком случае, лучше, чем обожествлять дев и плясать под их дудку менуэты. Старо, мой друг!

— Это дело вкуса. Но чем прикладываться к мощам Меринга или Геринга, лучше уж...

Я смущенно умолк и круглая грудь Риммы сияла предо мной в отдалении, как чаша святого Грааля.

Надо сказать, что Римма все же не равнодушна к моей судьбе. Ценю. Я читал ей кое-что из моих писаний.

Она была явно встревожена.

— Ну, как? — робко спросил я, окончив чтение.

— Неужели ты хочешь стать беллетристом?

— Стендаль стал пробовать свои силы в беллетристике под пятьдесят лет. И получилось не плохо.

— Ты не должен следовать его пагубному примеру. То, что ты пишешь, никакой Веселов печатать не станет.

— Не на одном же Веселове мир держится.

— Ты бы лучше писал не о любви, а о войне, о героизме, как Симонов и другие.

— Видишь Римма... я считаю, что писать о войне непристойно. Я тебе говорил уже, что для меня солдатская слава — позор человечества. Даже самое слово «война»...

— Несчастный мечтатель! — в сердцах сказала Римма.

— Разве мечтатель — ругательное слово?

Кажется, я начинаю стареть.

В старости не то важно, что седеют волосы и морщится лоб. Самое страшное — это потеря очарования, даже самой жажды быть очарованным.

Есть такая молитва: «Господи, избавь меня от воспоминаний!»

Но как избавиться?

Как все взбалмошные люди, я смолоду делал множество всяких вещей, думы думал, — их с одинаковым правом можно назвать хорошими, дурными, необходимыми и непоэволюционными.

Но я в оценку их не вдавался, хотя от одних испытывал наслаждения, от других — тошноту.

И только с тех пор, как начал сознательно шпионить за собой, будто кто-то на веки вечные обрек меня на это, — в мозгу, как сирена воздушной тревоги, гудела и завывала страшная мысль: все, что ты делаешь — не то. Не та сладость нужна тебе и не та горечь, не те результаты и не те мысли.

Напрасно думают мудрецы и историки, что человек к старости что-то накапливает.

Происходит как раз обратное.

Он постепенно теряет, как дерево во время листопада, страсти, стремления, мечты, и тогда на расчищенном горизонте видит выцветшие отрепья знамен, разбитые черепки скрижалей, увядшие лепестки мечтаний.

И так будет вечно. Человек не может выйти из круга всего живого, оно держит его цепко за руки и за душу в нескончаемой кадрили.

— Кавалеры, меняйте дам!

Но дамы сами спешат менять кавалеров.

Золотое кольцо в ноздре свиньи — вот что такое прекрасная женщина, так сказал царь Соломон.

Я даже не могу утешиться, что, подобно Данте, мне представится возможность развлечься в аду.

Помилуйте, разве пустят в ад жалких грешников, которые и грешить-то разучились?

В аду такая девочка, как Римма, поднимет свою ножку и стукнет меня по носу, несчастного добродетельного грешника. Она даже и фокстрота со мной не станцует.

«Верю Авраам повиновался призыванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда идет...»

В рай ли, в ад. А вернее всего — никуда.

Когда летят перелетные птицы, я всегда страстно хочу улететь.

И каждый день сопровождаю их, как попутный ветер.

По дороге отдыхаю вместе с ними на берегах итальянских озер, на маленьком острове Иския, где начинающий беллетрист Анри Бейль, более известный под именем Стендаль, кормил по утрам цыплят в огороде и вынашивал замысел «Красного и черного».

Все больше тоскую по местам, где я никогда не жил. Все больше волнуют меня дела всех людей.

Может быть потому, что я один знаю правду.

И вот обо мне, непризнанном спасителе человечества, когда я дочитаю последнюю никому не нужную лекцию о какой-то никому не нужной Гофолии, напишут, что такого-то числа скончался профессор французской литературы Корнелий Люцианович Абрикосов...

И это обо мне, презирающем самое слово профессор, как церковь и кладбище.

Обо мне, для которого книги, здания, музыка, цветы, Римма — чудеса, ниспосланные неласковой судьбой, чтобы я согласился жить и давал терзать себя фуриям.

Но ничего, придет время — сочтемся.

Опять немного покружил по Руси.

Сквозь мутные стекла вагона, залитые дождевыми слезами, глядела она с надворья, покорная и печальная, и не верилось ее радости, придуманной веселенькими, но вряд ли честными людьми.

Ободнялось неуступчиво и напористо.

Разбавился чернильный сумрак, и вот уж зыбится серой хмурью. День наступал со всех сторон, не зароешься от него в вязкую темень ночи, уж огонь пробивает брустверы темени, а обозначившиеся тучи обвисают вяло и кособоко, как чувалы с зерном с тележной грядки.

Вражий день вплотную приступил, забирался за ворот

лениво сеявшей мжичкой. Как двузубый рогац, сдавил шею, тянет за душу.

Машут решетчатые крылья мельницы. Вот подхватят и пойдут молотъ, перетирать, комкать. И уж как будто чувствуя все это, хочется снова ринуться в теплую пустыню сна.

Отчего это?

Жизнь все время заламывает предо мной на всех путях страшные заломы, что по народному поверью предупрекают неминуемую гибель.

Вещи все спят.

Стою безмолвно. Медленно, как старое вино, смакую прохладную лунную влагу. Хочу удержать в дрожащих руках это призрачное счастье, но злая колдунья-бессонница уже стоит на пороге.

Чтобы человек жил, надо его хорошо придумать. А это удается редко. В памяти человечества сохранилось очень мало людей и вещей, ими сделанных.

Бессмертие — это гениальная выдумка.

Скажите — кто же выдумал Римму?

«Я не более, как наблюдатель. Быть участником и рабом этой действительности я не собираюсь. Достаточно того, что я умею ее описывать».

Итак, мы поедem в Италию.

Мы решили не тратить время на осмотр музеев и храмов, а бегать по улицам, смотреть на здания, болтать в кафе с подвыпившими веселыми людьми, смеяться.

Веселов меня опять поучал:

— Ты отрываешься от современности, широких масс, я не могу получить от тебя ни одной статьи, хотя делал тебе десятки предложений.

Я молча пил пиво. Что я мог ему ответить?

Но при этом вспомнилось:

«Я согласен на всякую репутацию, лишь бы мне не мешали писать и слушать музыку, путешествовать и любить... Но я ищу и, быть может, найду основные черты такого человеческого характера, который поможет созданию будущего... Я — завтрашний день человечества».

Но разве можно подобные вещи говорить Веселову?

Я молча пил пиво.

— Неисправимый ты романтик! — не то с дружеским сожалением, не то с презрительным превосходством сказал Веселов.

— Но даже такой махровый реалист, как Тьер, сказал, что от романтики до коммуны один шаг.

Конечно, французскую литературу я люблю сильно и нежно.

Но тем более презираю свои лекции, в которых доказываю, что величайшие тайновидцы Стендаль, Флобер понимали в жизни намного меньше, чем популярный наш очеркист Анемподист Буйволлов.

Но теперь я ежедневно и регулярно изменяю... Выделяю разные штуки в фантастическом варьете под вывеской «Времена, краски, люди!»

Даже Римма на меня поглядывает подозрительно. Повидимому, в блеске моих глаз мелькают сполохи отдаленных пожаров. А может быть, она улавливает аромат бури, корабельных канатов и пиратского плаща, обрызганного соленой влагой?

Все еще может быть впереди.

Так он перерабатывал свои дни и часы, свои труды и свои ощущения счастья, отделяясь от грусти и запечатлевая радость.

Веселов смотрел на меня подозрительно:

— Так тебе страшно? Разве наши успехи не залог светлого будущего?

— Я этого не говорю, но я простой человек, и видел слишком много страшных вещей, чтобы спокойно спать.

— Спорить с тобой бесполезно.

— Конечно.

На обратном пути Римма мне сказала:

— Несчастный идиот. Где же ты видел, чтобы атеист отрицал Бога в церкви? Для этого даже Вольтер уехал подальше.

— То Вольтер.. А мне дальше ехать некуда.

Она как будто собиралась заплакать. Морщинки набежали на ее лоб. Но, должно быть, вспомнив, что от слез она дурнеет, сказала с великолепным презрением:

— Посидишь еще на хлебе и воде.

Как всегда, последнее слово осталось за Риммой.

Молчание — золото, а я по неразумию теряю его целыми пригоршнями. Явно безнадежный тип. И, как профессор литературы, могу прибавить: если не вредный, то, во всяком случае, лишний. И, как все лишнее на земле, скоро исчезнет. Потомкам поучительно будет ознакомиться с одним из последних экземпляров этого замысловатого вида.

Меня восхищает трогательное пристрастие Риммы к изящным вещам и пейзажам и каменное равнодушие к людям. Я понимаю ее — красивые вещи и виды обрамляют ее красоту и этим влекут ее так же, как отталкивают настоящие люди — зеркала, в которых она только видит свою непрельстительную душу. Вообще-то она не верит, что душа может быть красивой. Это как будто ей и противопоказано. Но подозревает, что я в этом отношении превосхожу ее, и не может мне этого простить.

У меня создалось такое впечатление, что очень красивые женщины чаще всего любят удачливых авантюристов, честных поклонников с трудом терпят, гениев считают своим долгом терзать.

Римма дает мне это часто понять, и чтоб смягчить ее гнев, я покупаю ненужные вещи, бестолково вмешиваюсь в хозяйственные дела и люблю ее презрительной улыбкой, с которой она свысока на меня поглядывает, снисходительно говоря:

— Ты бы уж лучше не вмешивался.

Вспомнил я это сегодня, потому что час тому назад состоялся финал неожиданного романа, в котором я — оказывается — играл роль главного героя.

В коридоре университета ко мне подошла Зоя Лесная, — она училась на последнем курсе. Мы с ней часто беседовали. Талантливая, умная, красивая, она еще была по-юношески восторженна, но порой обнаруживала мудрую проникновенность, почти материнскую. Ее любовь к Стендалю, даже несколько истерическая, не предвещала ей ничего хорошего в личной жизни.

Сегодня она меня ошеломила:

— Профессор, у меня к вам есть один вопрос... Это давно уже мучает меня, но я все как-то не решалась заговорить.

— Почему же? Ведь мы говорим обо всем.

— Нет... Не обо всем. Тут замешаны личные обстоятельства. Но сегодня я решилась. Нельзя же без конца колебаться. И тут еще мне сделал предложение один достойный человек.

— Откровенно говоря...

Она торопливо перебила меня:

— Именно мне это и нужно, чтобы вы откровенно мне ответили — это для меня страшно важно, дело идет о всем моем будущем... Говорят, что вы до сих пор влюблены в свою жену. Это говорят все. Я не могу этому поверить. Я с ней не раз встречалась в одном доме... Нет, это невероятно — вы и она...

У меня почему-то слегка закружилась голова. Я с трудом произнес:

— В жизни большинство фактов кажутся невероятными с точки зрения здравого смысла... Если вы это имеете в виду. Но почему это для вас так важно?

— Потому, что я вас люблю, давно, уже два года.

С минуту мы стояли молча. Может быть она заметила, что у меня дрожат губы.

Потом я сказал:

— Вы, вероятно, вообразили себя двадцатилетней Видо, а меня пятидесятилетним Стендалем... Это часто бывает, и разумеется, несерьезно, что ученицы влюбляются в учителей... Такая школьная игра.

— Но я согласна на все... — сказала она и упрямо сжала губы.

Отчаянная решимость, которую я заметил в ее лице, сразила меня. И ослепленный на миг факелом, вспыхнувшим в руках моей судьбы, склонил голову и, глядя в сумрак, прикорнувший у маленьких ног Зои, сказал:

— Вы рождены для счастья. Не отворачивайте от него лица. Идите к нему навстречу...

Она смотрела на меня строго и настойчиво:

— Счастье я могу дать только вам. Человеку, который меня любит, я могу только предоставить невеселую возможность жить, как будто он счастлив. Он сказал, что без меня жить не может. Но даже спасти человека от смерти это еще вовсе не значит дать ему хоть капельку счастья.

Я вздрогнул. Я не хотел этого говорить, но сказал:

— Это вы обо мне все знаете?

Она все поняла. Больше я ее не видел.

Не знаю, что с ней случилось. И все это происшествие скорее мне показалось вымыслом, как счастливая концовка романа, которая мне всегда кажется фальшивой и надуманной. И еще долго потом мне казалось, что Зоя действительно могла бы мне принести настоящее счастье. Но все это иллюзии — разве такие, как я, могут быть счастливыми?

Скоре придет Римма. Я знаю, что никогда не разлюблю ее. И никто на свете не заменит ее, прекрасную, как жизнь.

Все болтают о войне, водородных бомбах, Римма беспокоится о судьбе Мурки. Я, конечно, тоже, хоть в большую войну не верю.

Но мало ли во что я верю или не верю?

«Собственные впечатления подтвердили, что битва для ее участников — просто дикая нелепая свалка людей в кустарниках, на опушках и полях, взрывааемых невидимыми снарядами... А героические донесения выслуживающихся

генералов — один из самых отвратительных видов человеческой фальши».

Вспомнив эти слова, я подумал, что генералы куда меньше выслуживаются, чем поэты.

Об этом я Римме не сказал, но она уже давно запретила мне говорить о войне, покупать билеты на героические фильмы и военные романы. Она долго хохотала над словами Идена на Женевской конференции: — стоит только протянуть друг другу руки, и наступит эра всеобщего благоденствия.

Сквозь смех она еле произнесла:

— Милый сэр Антони, для того, чтобы пожать друг другу руки, надо их освободить от водородных бомб.

Я тоже заразился ее весельем и сказал:

— Римма, твоя мысль недостаточно остра, чтобы пронзить твердолобых.

В общем, мы выразили желание помочь сэру Антони Идену и сэру Дуайту Эйзенхауэру сотворить эру всеобщего благоденствия, если они только пожелают принять нашу помощь.

И так развеселились, что пошли в ресторан и танцевали там до закрытия.

В зале были американцы и другие зарубежные гости. Все готовы были протянуть руки Римме, и всячески показывали, что сосуществование с ней им очень по душе.

Солистка джаза пела:

Спи, мое бедное сердце...

Саксофоны подвывали, как голодные собаки.

Мне казалось, что мы танцуем фанданго, а я изображаю сегидилью об идалго, который кутит на последние реалы.

Царственно хороша была Римма в серебристом сиянии хрустальных люстр и голубоватой дымке разогретого воздуха. Глядя на нее, скользящую по паркету, я взлетал на качелях в запредельные высоты. Меня теперь никогда не

покидает вдохновение, даже во сне. Я внезапно останавливаюсь, пораженный, очевидно, давно назревшей мыслью: отчего еще не созданы мои великие творения?

Может быть потому, что миру милее шарманщики, генералы, драки, водка и намазанные губы.

Все может быть, ибо музыканты уходят, гаснут люстры, зловеще красная всходит луна, и такси нас уносит в провал черной ночи.

Римма зевает.

От нее исходит лучисто-серебряное, окаянное и чарующее сияние сфинкса.

Пишу, как одержимый.

Но думать боюсь. Боюсь даже прочесть написанное.

Ни в жизни, ни в искусстве не существует прямых линий. И хотя это признают все, однако наперекор стихии продолжают расплющивать души мастеров, вытягивать их в прямые линии, как самый краткий и верный путь к цели. С этим нельзя не согласиться. Но ведь нет же таких путей. Железные дороги и те поднимаются в гору, уходят в низины, ныряют в туннели.

Хотя мне даже в точности не известно, кто я, кто Римма, но я почему-то себя не презираю, Римму люблю, и с трудом выношу Веселова, человека авторитетного, честного, трудолюбивого, обреченного всю жизнь сидеть за каким-нибудь столом президиума, пока на один из этих столов не возляжет, поблескивая заострившимся носом, орденами и медалями на груди.

А я?

Нет, не выберут меня в президиум и бессмертным признают в будущем веке, что вполне справедливо, ибо я вовсе не мечтаю о том, чтоб меня любили члены президиума, а только Римма.

В конце концов мне некого винить в том, что мне так сильно не везет.

Одно из двух — или бессмертие, или везение.

И хотя охотно выбрал бы второе, но сие от меня не зависит.

Всегда выбирают женщины.

Над портретом Риммы трудились видные художники. Но когда они показывали свою законченную работу и женщина на холсте встречалась с Риммой, обе отворачивались, как незнакомые, а самолюбивые мастера, обычно самоуверенные, молчали в явном смущении.

Я понимаю их — ведь каждого в той или иной мере мучила страсть или вожделие, и, глядя на презрительное великолепие живой, они отчетливо видели, что та, на портрете, не идет ни в какое сравнение.

Меня интересует, что скажет Римма о портрете, нарисованном мною, когда прочтет мою книгу? Тоже отвернется, как от незнакомки? Все равно я ничего не узнаю. Но ужасно не хочется замёрзнуть под забором, хотя говорят, что это легкий конец.

Но что же, все-таки, я сказал о Римме?

«...в сиянии свечей ты была поразительно хороша. Но на портрете ты еще лучше. И притом он не отступил от правды. Дьявол, а не человек:

— Не в одной правде сила...».

Так в чем же? Неужто в дьявольском дерзании?

Я уже давно чувствую, что демоны меня обольщают, — не знаю, что из этого выйдет. И на что они способны? Я знаю твердо, на что способен Веселов. Но ведь он даже не мелкий бес. И как справедливо скажут ценители, «это был человек невысокого пошиба, который, мечтая о сомнительных подвигах, крепко держался за свой шеститысячный оклад и юбку жены».

Чего стоят после этого все дерзновенные мысли сего героя, его теории, призывы, сильно напоминающие того задиру, который вопит:

— Держите меня, а то я его ударю!

Все держат: долг, Римма, искусство, дьявол — и рвут в разные стороны.

Демоны — демонами...

Но вот что заставляет меня порой вздрагивать. Мне повсюду мерещатся веселовы. Будто бы все люди — веселовы, веселовихи, веселовята. И все ловят меня. Особенно страшно становится при мысли, что Веселов будет читать мои записки.

А ведь через Веселова к читателю не перепрыгнешь.

Написал на всякий случай завещание в надежде на то, что и Веселов не вечен, хотя он сам питает иные надежды. У меня есть один друг, писатель. Но о нем я не хочу упоминать. Мне кажется, что он действительно писатель, и действительно мой друг. Как бы ему не повредить.

Римма невежливо смеялась, когда я вручил ей завещание:

— Чудище, неужто тебя занимает, что будет без тебя?

— Милая, я только и начну жить после смерти профессора Корнелия Абрикосова.

— Но ведь от этого никому пользы не будет, разве только издателю.

— Да, пожалуй.

Не говорить же ей о моих надеждах.

Они все больше крепили. Я не гонялся ни за счастьем, ни за постами, ни за чем на свете. За мной не числилось никаких заметных официально признанных добродетелей, если не считать любви к жене. Но ведь я-то знал, что Римму мог называть с в о е й только в анкетах.

Таким образом у меня были все основания возлагать на себя надежды, тем более, что книга близится к завершению. И вообще впереди еще столько мучений, тревог, бессонных ночей — ослепительное и беспросветное бытие.

Притом я был уже самым богатым и властным человеком на земле — я владел всеми думами и мечтами человечества.

В то же время я был самым несчастливым человеком в мире — ибо владея таким несметным богатством, зная, что его потенциальной энергией можно создать уже рай

сегодня, я вынужден был жить в аду, с которым никто не хотел расстаться, несмотря на мечты о рае.

И мне даже не советовали говорить об этом вслух., чтобы не отвлекать трудящихся от исполнения их непосредственных обязанностей.

— Все это сегодня ни к чему, — с апломбом сказал Веселов.

Я знаю много больше, чем все.

Подозреваю, что вне известны даже тайны, еще не известные никому.

Но все знания — небольшой холмик в сравнении с Монбланом незнания. Пожалуй, мое единственное преимущество перед пророками, вождями и философами, что я не канонизирую, подобно им, своих догадок.

— Не сотвори себе кумира! — на все лады вопят глашатаи всяких толков и верований, одной рукой с жонглерской ловкостью лепят богов, тельцов и другой божественный реквизит, а другой швыряют камни в головы не склоняющихся перед их непрочными изделиями из податливого пластилина всех ролигиозных догм.

Но в душе все-то понимают, что без кумира не проживешь.

И цепляются за любой, чтобы вдруг не очутиться лицом к лицу с огромным и страшным миром, полным неизведанной прелести и ужаса, гибельными соблазнами, опасными мечтами, похмельем разочарования.

Но разве сам себе творишь кумиров?

Если бы, к примеру, от меня зависело, то я сотворил бы себе не Римму, а Офелию.

И вообще натворил бы дел!

Разумеется, мне могут и не поверить. Я бы даже удивился, если бы поверили.

Никто не ценит возможностей, а только результаты. Я — тоже.

И даже не прихожу в содрогание от злодеяний Филиппа II испанского. Ведь он сделал Испанию мировой державой, чего не сделали ни его предки, ни его потомки. Эску-

риал — «Божественная комедия» из гранита, мрамора и золота.

Вообще на жизнь надо смотреть доброжелательно, — по крайней мере снисходительно, а то за эти невеселые тысячелетия ее сглазили миллиарды злых, завистливых, хищных глаз. Как же ей не очерстветь, не позеленеть от волчьей ласки?

Настоящая жизнь может стать сказочно прекрасной, если ее перестанут терзать, но могут ли волки стать кудесниками?

Когда устремляешь взор внутрь, в свою или чужую душу, сразу обрушиваешься, как стремнина в бездонную прорву, и чьи-то щупальцы высасывают из мира все животворные соки. Взгляд внутрь — это острый меч, которым можно себя убить. О, если бы он заржавел!

Накануне отъезда мы пошли проститься с Веселовыми. Римма говорит, что с обидчивыми людьми надо держать себя начеку, как с клопами, иначе заедят.

Все было как полагается, и я даже был в ударе — бил самого себя, как обычно.

Веселов сказал:

— Не забудь в разных палаццо и соборах о простых людях Италии.

— Я готов к черту послать всех простых людей, — сказал я с неожиданным внохновением, — которые своими мозолистыми руками навязали миру такую гнусную судьбу. Такая простота хуже воровства. И если далеко не простые мудрецы пытались или пытаются переделывать мир, то простые всеми силами этому препятствуют. Старый мир, со всеми его престестями, кабаками в особенности, смертоубийственными военными подвигами, куплей-продажей всего и всех, — милее всего на свете твоим простым людям.

— Но ведь это просто поклёп, — возмутился Веселов.

Неизвестно, до чего бы дошло, если бы не вмешалась Римма:

— Что вы с ним спорите? Он ведь пьян, как стелька.

— Правильно, Риммочка! Давай выпьем за твое здоровье, Виталий, — сказал я, сделав вид заправского гуляки. Дома мне попало, и еще на другое утро я с грустью думал:

— Какая у меня запутанная судьба — одновременно любить и Римму, и простых людей, и друга моего Веселова. Ну и нагрузка!

И все же главное — Римма.

Разве в ней не сосредоточены все узлы, проблемы, трагедии, жизнь?

Да и сама жизнь — женщина, непостоянная и неверная. А народ?

Это страшная силища, которая может озоровать, как гулящая девка, и вдруг превращаться в Магдалину. «И от погонщика мулов до последнего премьер-министра» всякий готов поиздеваться над ближним. А тут еще разжигает ревность. Одна нация перед другой выкомаривает кто чем — кабаками, инквизицией, дубинкой, водородной бомбой. Женщины особенно страшны в соревновании.

Римма многолика, как человечество, и так же безрассудно жестока.

Если бы она могла стать чем-нибудь одним — мадонной, вакханкой, матроной, такой хотя бы, как Монна Лиза.

В душе моей наслежено вязко и черно.

Словно шли охотники по чернотропу.

Желания и мечты только кое-где пестро лепятся, как опавшая листва. Под трепетным ветром вздрагивают от холода лепестки опадающих надежд. Но в ней же запасено солнца на тысячи грядущих весен, и в черноте я зажигаю ослепительные багряные костры.

Если бы...

В Италии шумно, красиво и смешно.

Красота — преддверие трагического. Поэтому туристы наскоро осматривали достопримечательности и подолгу пили и насыщались в кафе, тавернах, варьете.

Это — правильно и предусмотрительно. Красоту гении не только творят, но одни и постигают. С такой высоты не свалишься ни в бездну, ни в болото.

Шумно от движения, но громких слов никто не проносит. Над громкими словами и великими идеями развязно смеются. Оттого так много смеха повсюду. Во всяком случае достаточно, чтобы заглушить плач, стенания, жалобы, известные по книгам и фильмам.

Громче всех смеются и чавкают американцы. Они недвусмысленно показывают, что Италия это их Монплеизир. И верно — на шумных улицах, в кафе и магазинах итальянцы ступешевываются, назвать их хозяевами никак нельзя — бедная челядь, ждущая подачки.

Римма тоже была как хозяйка, и мне, бедному чичероне, порой перепалили щедрые чаевые. Тогда меня внезапно пленяла мысль о том, что душа у меня огромная и древняя — я заглянул вперед слишком далеко. И остерегался, чтобы люди этого не заметили. Не простят!

Римма была равнодушна к живописи так же, как до самозабвения любила музыку. Я не знаю, до чего ее доведет эта страсть.

Что касается меня...

Но я не буду об этом говорить. Мой роман с искусством только начинается. Я еще не знаю, что из него выйдет. Такие романы всегда происходят на краю бездны.

Ежегодно в Италию приезжают десять миллионов туристов.

Жрут, пьют, хватают, облизываются, увозят сувениры.

Но и привозят много валюты.

И однако эта неувядающая красавица, — может быть она стала лучше, но после Гёте и Стендаля и всех сотен миллионов пришельцев никто о ней не мог сказать что-нибудь стоящее, за исключением Горького, — живет не очень сытно. Как и во всем мире, из простых людей там сыты только солдаты и полицейские.

Исполняя священный долг, я повел Римму в грязные закоулки. Она шла молча. Ее молчание не предвещало ничего хорошего. Заговорила она неожиданно, с такой вдохновенной яростью, как героиня в трагедии Расина:

— Несчастный, хочется сказать — идиот, разве я для того копила деньги, чтоб ты собирал материал для очерка по заданию Веселова? Мало-мальски порядочный писатель может у себя в Кривоарбатском переулке написать что угодно об Италии.

— Но контрасты... — пролепетал я униженно.

— Ах, тебе нужны контрасты! Ладно.

— Не сердись, Римма. Я навсегда разлюблю контрасты.

— Ты ни к чему не пригоден, даже любимую женщину не можешь любить по-человечески. Подсунуть такую гадость.

На глазах у нее показались слезы.

Если я не умею любить, то что же я умею?

Глядя на ляпис-лазурь и аквамарины моря и неба, лиловые тени каприйских вилл, золотые россыпи у ног Риммы — розовый халцедон плеч, трико, неизменное, красное и черное, потемневшие камеи глаз, рыжий костер на голове, раздуваемый голубым ветром, вслушиваясь в музыку всех этих расцветок, я задыхался от охватившей меня страсти к жизни, и мне уже всего было мало. Я бешено завидовал молодому поэту семнадцатой фазы коммунизма в пятьдесят первом веке, который будет фантазировать о восемнадцатой, и, налету сфотографировав его чертежи и рисунки, строители начнут ее строить.

Человек не какой-то там бог, который, вероятно, и сам не рад был бы тому, что сотворил, если бы он существовал.

Обидно, что не дотяну. В мировом пространстве неограниченные массивы целины. Вот бы ее поднять!

Видя мое торжество, Римма почему-то нахмурилась.

— Знаешь, — сказала она с зловещим равнодушием, — я окончательно убедилась, что вовсе не люблю родину, а если когда-нибудь и любила, то наверняка разлюбила.

— Так же, как меня?

— А разве я тебя любила? — спросила она с удивлением человека, не ведающего, что он творит.

Так отплатила мне жизнь за мою страстную любовь к ней.

С того дня я решительно порвал свой роман с жизнью, хотя любил ее, кажется, еще сильнее. Но я уже продолжал свой путь в другом, воображаемом мире.

Постепенно все от меня отворачивались, избегали. Вероятно, во мне было что-то опасное для цельных натур, окружавших меня.

Но я купил «Божественную комедию», ин'фолио, в переплете из красного сафьяна, от восторга поцеловал ее в тусклом номере флорентинской гостиницы и почувствовал на губах блаженство ответного поцелуя.

Римма почувствовала что-то недоброе. Она злилась, сказала, чтоб я не смел тратить валюту на всякую ерунду.

Но на меня это не подействовало, я дал это понять Римме в осторожных и уклончивых выражениях. Иногда это со мной бывает. Если я не каждое мгновение у ее ног, то и она не всегда бывает богиней.

Но Римма никогда не дает мне насладиться антрактом. Стоит ей только посмотреть на меня беспомощно и страдальчески, как я тут же валюсь на колени.

Италия — величайшее произведение искусства.

И как всякое замечательное творение, имеет множество разнообразных ценителей.

Толпа отбывает любование руинами, музейными экспонатами и храмами, как неизбежную повинность, после которой можно вознаградить себя в ресторане и варьете.

Каждый видит то, что хочет.

Но так как я лишен здравого смысла, я видел в Италии старинное лазурное небо, синие воды, то изощренное божественное искусство природы, которое потрясает меня с неубывающей силой.

Еще пленяли меня воспоминания о чудесных людях, которые жили так давно на этой земле, что стали легендой.

Я восторгался тихо, печально и сосредоточенно, а Римма шумно и вызывающе. И так как она была более пленительна, чем достопримечательности и сувениры Флоренции, ее явно хотели приобрести богатые долговязые гуляки. Это ее серьезно забавляло. Результатом явилось ее исчезновение на целую неделю, о чем она меня поставила в известность короткой запиской.

Вернулась она как ни в чем не бывало, сказала мне:

— Я хочу спать.

И проспала сорок часов.

Мог ли я ее о чем-нибудь спрашивать после того, как она призналась, что никогда меня не любила?

Поэтому я ждал решения своей судьбы, готовый на все, и мысленно подсчитывал свой актив на случай ликвидации предприятия. Подсчитав, подумал, что никто меня не осмелится назвать банкротом, ни лавочники, ни друзья, ни критики.

Я, кажется, испортил всю музыку.

Нас так ждали — это сразу видно было. Шампанское стояло в ведерке со льдом. Салат с крабами. Торт «Сюрприз». Женщины в новых платьях из Дома моделей.

— Ну, расскажи, Корнелий, что-нибудь поострей, — сказал мне Веселов, наливая мне коньяк «Ереван». — Вероятно, ты не все захочешь написать в своем очерке.

— И вообще не собираюсь писать... Нескромно, знаешь, после Гёте и Стендаля.

— Ложная скромность. Нам важно прежде всего то, что увидено глазами советского человека.

— Но прежде всего глазами художника... — попытался я робко усомниться.

Тут вмешалась Римма.

— У Корнелия нет времени. Ему надо к лекциям готовиться.

— Но, по-моему, — поучительно сказал Веселов, — долг требует написать о том, насколько впереди наше социалистическое отечество.

Римма не унималась:

— Об этом еще лучше можно писать, сидя дома. Я думаю, Виталий, что вы лучше напишете, чем Корнелий, хотя и не ездили. Надо знать, что писать. А он разве знает!

— А вы знаете, Римма? — спросил Веселов.

— Пожалуйста, не спрашивайте меня. Лучше бы я вообще не ездила.

Я поспешил ей на помощь:

— Знаешь, Виталий, — сказал я, виновато глядя на него, — ведь и Стендаль любил Италию больше, чем свою родину, а он же не носил коричневых рубашек. И вообще все горе в том, что есть там разные лагеря, государства, офицеры, точки зрения... То есть я хочу сказать, если бы всего этого не было, особенно денег, то можно было бы всюду чудесно жить.

Веселов выпятил грудь и сказал торжествующе, как учитель, добившийся долгожданного ответа от туповатого ученика:

— За это мы и боремся.

— А другие — за другое. Хорошо бы не бороться, а жить.

— Ты пацифист? Не знал...

— Разве? Я тоже не знал. Но извини, Виталий, очерки я не мастер писать.

Я здорово выпил в этот вечер.

Все были разочарованы.

Небо все взъерошено, в растрепанных прядях облаков, нижние обвивают, как старческие морщинистые щеки, все оно серое, неумытое, заспанное.

Из-под нахмуренных лохматых бровей, сквозь узкие прорези с подсиненными глазницами, подслеповато моргает недобрый оранжево-багровый глаз. Хмурое утро, с навертывающимися слезами дождя, кладет мне на плечо свою тяжелую руку — в ней смяты худые предзнаменования и неминуемые обиды.

Умытая студеной водой Римма причесывается перед зеркалом.

Спектакль продолжается.

Я думаю:

— Жить не умеют, но зато как играют.

Впрочем, кто может сказать, что я недоволен жизнью?
Разве только я сам?

Но кто же станет на себя самого доносить начальству?

Туманные и злые осенние росы оседают на землю.

От них вянут сокрушительно быстро отава и души поздней зрелости. Есть особая ядовитость в этих росах и туманах, так же, как в думах, перекисших в темных подвалах рефлектирующих душ.

Вероятно, потому они и рождаются там, что теснятся в темени, а их властители не снимают ржавых запоров, боются впустить хотя бы один луч немилосердно-светлого солнца.

Я никогда не поддамся смерти. Человек не может умереть от страха. Может быть, мышь.

Но бессмертное я — это бессмертное мы.

И то, что Римма меня не любит, не исчерпывает всех моих сил.

Живое счастье без своего противника не может существовать, как вообще все живое.

Только трусы изнывают от тревоги, от неминуемой встречи с бедой. Но я взываю к ней.

Трудолюбиво сею бури и готовлюсь пожинать ветры, а не форточные сквознячки.

Каждый год мы ездим в Сочи. Римма не возражала, зная, что для меня это — святое место, ведь там мы встретились.

Да. Там все началось.

И каждый год, когда я приезжал туда, мне казалось, что все начнется сначала.

Но что же может начаться вновь, когда она мне приналась, что и вначале ничего не было?

Почему-то вспомнилось, что в церкви во время венча-

ния дьякон подает серебряный ковш единения. Неужто он исчерпан до последней капли?

Если бы у меня было настоящее мужество, я бы просто решил, что надо искать другой вариант романа. Но на это у меня мужества не хватило.

Каждый день я уплывал далеко, на путь больших кораблей, и возвращался неохотно.

Нет ничего прекраснее часов вдали от берега. Я даже не уставал. Я мог сколько угодно лежать неподвижно на спине, и была необычайная услада и гордое сознание в том, что огромная стихия не в силах меня утомить.

Я чуть не забыл — расхвастался.

А ведь она именно так и сказала, — что ничего не было».

Был один из тех изумительных приморских дней, до отказа наполненных лазурью неба, синью вод, золотом солнца, цветением гор, ароматами далей, когда сердце не может вместить всех предельно обостряющихся желаний, надежд и жадно стремится вобрать в себя все очарование дальних пространств и бесконечного времени.

Римма, вышедшая из белой пены, ласкавшей к ее ногам была золотисто-розовой, прохладно-влажной, божественной в меру человеческого представления.

Корнелий Абрикосов бросился в набежавшую волну и сразу поплыл кроллем. Он шел быстро, как дельфин. Мне, глядевшему с берега, казалось, что он изо всех сил кого-то хочет догнать.

Но впереди никого не было.

Он уходил все дальше в море, и его уже не видно было.

Впрочем, это никого не тревожило — все знали, что он отличный пловец.

Но на этот раз он не вернулся.

Только на другой день, который тоже был красив, хотя при ясном небе шумел веселый пятибалльный шторм, тело Корнелия Абрикосова вынесла на берег бирюзовая волна.

Бахромчато-пенный широкий гребень вала был похож на катафалк.

Корнелий Абрикосов лежал на берегу задумчивый и тихий, слегка недоумевающий. Впрочем, он всегда плохо понимал, что с ним происходит.

Римма застыла, как Ниоба.

Она искренне горевала. Конечно, не из-за нее он не вернулся. Но такие совпадения всегда неприятны.

Я глубоко убежден, что умышленная гибель исключена. Но кто-то сказал:

— В жизни все бывает. Что мы можем знать?

Через несколько дней после похорон я посетил Римму.

Я застал ее такой же — словно окаменевшей, строгой. В глазах ее была такая печаль, что я долго не мог выговорить ни слова. Она словно ушла в себя, стала меньше от глубокого горя, которое излучало все ее существо. Даже костер на ее голове словно угасал, и пламя, потускневшее, стлалось ниже...

Но она казалась мне более прекрасной, чем всегда.

Плененный горькими думами о друге, потерявшем такой чудесный мир, я склонился к ее узкой руке.

Потом мы сидели за маленьким круглым столиком. Она тихо говорила:

— Все эти дни я читала все, что написал Корнелий. И теперь мне кажется, что я была девочкой, и вот сразу стала взрослой, матерью, убившей своего первого ребенка.

Она умолкла.

— Римма, этого не могло быть. Он никогда бы не ушел от вас. Вы сами это знаете.

Она приподняла ресницы и сказала:

— Благодарю вас за доброту вашу. Но никто и ничто не сможет оправдать меня. Он не ушел бы от меня, если бы я сама его не прогнала.

— Не надо, Римма... У вас еще так много жизни впереди.

Она покачала головой:

— Нет, ведь это он сделал меня богиней... А после этого...

Она умолкла.

Потом я сказал:

Так знайте же, Римма, что я может быть больше, чем кто-нибудь другой, виновен.

Она смотрела на меня равнодушно и грустно.

Мы расстались... Что с ней будет?

Опасное чувство и предчувствие волновали меня.

Веселов был мрачен. Но слушал меня внимательно.

— Где-то я читал рассказ «Смертельное манит». Стоишь над пропастью и тянет броситься вниз. Я тогда подумал: смертельное манит тех, которых не очень очаровывает жизнь. И когда у друга замечаешь признаки разочарования — вот тут и надо своевременно помочь, поддержать.

— Что мы могли сделать?

— Спасти. Корнелий мог и не знать, что его манит смертельное, что у него ослаб инстинкт жизни. Но мы — коммунисты. И мы должны были знать.

— Трудно все это.

— А разве мы за легкое дело взялись? Мы могли очень много сделать. Я говорил с Риммой. Но когда я догадался с ней говорить? Когда все уже было кончено. Они просто, как слишком близкие люди, мучали друг друга. И в этом Корнелий особенно виноват. Нельзя человека делать богом. Он был человек огромных возможностей. Шел вслед за нами. Но мы не оглянулись, не заметили, что он отстал. Умереть во много раз легче, чем жить. Но, может быть, самая главная обязанность коммунистов заключается в том, чтоб воспитать новых людей, презирающих смерть. Это еще важнее, чем построить Магнитку. Корнелия мы проморгали. Этого я себе никогда не прощу...

Но Веселов явно не соглашался. Он сказал уклончиво:

— Не будем ставить точки над *i*. Смерть уже поставила над ним точку.

Оказывается, нет — не поставила.

Меня просили, как его ближайшего друга, написать эпитафию. И, зная, чьи слова любил покойный, я написал то, что Стендаль сочинил для себя за двадцать лет до смерти:

Ж и л , п и с а л , л ю б и л .

СОДЕРЖАНИЕ
ОДИННАДЦАТОГО ТОМА

СКАЗАНИЕ О СИНЕЙ МУХЕ

Часть первая 7

Часть вторая 59

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ 105

